

Маргарита Шульмейстер

XX ВЕК
МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ
ВОСПОМИНАНИЯ



Нестор-История
Санкт-Петербург
2021

УДК 82–94
ББК 84(2Рос=Рус)
Ш95

Шульмейстер Маргарита

Ш95 XX век. Мой долгий путь : воспоминания. — СПб. : Нестор-История, 2021. — 176 с., ил.

ISBN 978-5-4469-1882-9

Издание осуществлено при содействии Генерального Консульства Германии в Санкт-Петербурге в рамках программы по поддержке немецкого меньшинства. Проект инициирован Фондом поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга» и посвящен 80-летию депортации немцев Ленинграда и Ленинградской области.

Rahmen des Förderprogramms der deutschen Minderheit ermöglicht. Das Projekt wurde durch die Stiftung zur Förderung und Entwicklung deutsch-russischer Beziehungen „Deutsch-russisches Begegnungszentrum an der Petrikirche St. Petersburgs“ durchgeführt und dem 80. Gedenkjahr der Deportation der Russlanddeutschen Leningrads und des Leningrader Gebietes gewidmet.

УДК 82–94
ББК 84(2Рос=Рус)

Художник Ольга Маркина

ISBN 978-5-4469-1882-9



© М. Шульмейстер, 2021
© Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч», 2021
© Издательство «Нестор-История», 2021

МАЛЕНЬКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга — результат долгой жизни. И убеждения автора, что публикация воспоминаний о жизни — дело нужное и благодарное. Не только для своих внуков и правнуков. Но больше — для рассказа о судьбе народа. Немецкого народа в России, который был в разные эпохи приглашён, изгнан, репрессирован, снова признан.

Маргарита Константиновна Шульмейстер — постоянный посетитель Фонда поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч», друг, уважаемый человек и очаровательная женщина. Её шарму и жизнелюбию можно позавидовать. Её любопытство и прятие современных реалий поражает. Истории её жизни заставляют стынуть кровь.

Благодарим Маргариту Константиновну за великодушие, с которым она делится новеллами своей сложной и многогранной жизни.

Книга издана при поддержке Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге в рамках программ поддержки немецкого национального меньшинства.

*Директор
Фонда поддержки и развития
русско-немецких отношений
«Русско-немецкий центр встреч»
Арина Немцова*

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние три десятилетия о российских немцах написаны сотни научных и художественных книг, тысячи статей, изданы сборники ранее засекреченных документов и воспоминания, появилась и переиздаётся энциклопедия. Казалось бы, сегодня, после замалчивания «немецкой» темы в советский период, можно получить исчерпывающую информацию если не обо всём, то о многом, что касается российских немцев. И всё же, каждая новая книга об истории народа, о судьбе отдельного человека — событие, которое встречаешь с волнением.

Воспоминания Маргариты Константиновны Шульмейстер переносят нас в прошлый век, век тяжелейших испытаний для человечества и одновременно величайших открытий. Две мировые войны, которые изменили миропорядок, социальные революции, которые разрушили целые империи, а рядом — освоение атома и выход человека в космос, величественные программы покорения природы. И где-то в гуще этих потрясающих событий жили простые люди со своими планами и надеждами, радостью и горем, растили детей, берегли родителей, имели друзей. Что переживали в это время «маленькие люди», как на их судьбе отразились мировые и менее масштабные катаклизмы? Если внимательно приглядеться, то окажется, что на деле нет никаких «маленьких людей», а есть другой масштаб измерения. Через призму личной судьбы человека история народа выглядит более многогранной, и в деталях отдельной жизненной линии узнаётся общая судьба народа, страны. Так и жизнь Маргариты Константиновны стала своеобразной «энциклопедией» российских немцев за последние почти сто лет.

Немцы, поселившиеся на Волге по приглашению Екатерины Великой в середине XVIII века, не могли, конечно, даже

предполагать, что когда-то на этих землях появится их собственная республика, не могли предвидеть, как повернётся их жизнь через два столетия, что они превратятся из желанных переселенцев и добросовестных хозяев в людей второго сорта, окружённых плотной паутиной подозрений и недоверия. Но это произойдёт намного позже, в XX веке. Когда-то вся жизнь колонистов строго регламентировалась государством, для управления жизнью колоний существовали специальные административные органы, на Волге это была Саратовская контора опекунов иностранных. С 1800 года действовала «Инструкция внутреннего распорядка и управления в Саратовских колониях», в которой был расписан чуть ли не каждый шаг колониста и его общины. Однако это не тяготило — привыкшие к порядку немцы видели в этом созвучие своему рациональному отношению к труду. Число колоний и жителей в них постоянно росло, и к 1914 году по обеим сторонам Волги существовало около 200 немецких поселений с населением более 400 тыс. человек. Вклад поволжских немцев в экономику страны ежегодно исчислялся сотнями тысяч тонн собранных зерновых, саратовская мука кормила Москву и Петербург. Империалистическая война с Германией в один момент превратила всех российских немцев в изгоев, которых подвергали травле, дискриминации. Всё радикально поменялось в 1917 году.

19 октября 1918 года Совнарком РСФСР утвердил декрет «О создании области немцев Поволжья», на нём стоит подпись председателя Совнаркома В. И. Ленина. 6 января 1924 года на XI областном съезде советов в Покровске, столице автономной области, было принято постановление «О провозглашении АССР немцев Поволжья». Установление народовластия открывало широкие просторы для творческого созидания простых людей, но очень скоро стало понятно, что образ немецкой республики нужен советской власти в качестве парадной витрины для демонстрации достижений и привлекательности нового строя в глазах международного пролетариата, особенно рабочих Германии. Романтические надежды на победу мировой революции ещё крепки были в то время.

Республика немцев Поволжья, как и вся страна, пережила все эксперименты в социально-экономической и политической

жизни 1920–1930-х годов. Через классовый подход решались проблемы в годы военного коммунизма, велась борьба сначала за установление новой экономической политики, а потом искореняли «нэпманов», благодаря которым разорённую экономику удалось оздоровить. В конце 1920-х годов обострился «кризис хлебазаготовок» и тут же выявились «враги» в сельском хозяйстве — кулаки и их «подпевалы» в лице зажиточных крестьян, священнослужителей и простых верующих. Кампания по раскулачиванию в республике, начавшаяся осенью 1929 года и завершившаяся в середине 1931 года, привела к разорению тысяч хозяйств и высылке свыше 25 тыс. человек, сотни были арестованы и репрессированы. В течение первых 12 лет существования немецкой автономии на Волге волюнтаристская политика властей трижды привела к массовому голоду — в 1921, 1924 и 1933 годах. Успехи в области национального образования и культуры, достигнутые в короткий промежуток второй половины 1920-х годов, в начале 1930-х годов стали постепенно сворачиваться, национальная специфика культуры выхолащивалась и подменялась идеологией. С 1934 года национально-культурная политика в республике велась под всё более крепнущими лозунгами «борьбы с национализмом и фашизмом», «усиления интернационального воспитания» немцев. В течение 1930–1940-х годов были закрыты и уничтожены храмы, независимо от конфессиональной принадлежности их прихожан.

На парадном фасаде страны всё по-прежнему выглядело благополучно: строились заводы и фабрики, появлялись новые города, проходили спортивные парады, снимались запоминающиеся фильмы. Иначе выглядела изнанка жизни. Большой террор 1937–1938 годов захлестнул страну, арестовывали тысячами, расстреливали списками. Первой «национальной» линией НКВД стала немецкая.

Вплоть до начала войны советские немцы компактно проживали на своих территориях, на которых осели почти два столетия назад. Добровольно мало кто покидал малую родину: кто-то отселялся в дочерние колонии, кто-то перебирался в город. Но всё это было рядом, близко с родными местами. Первая трагедия разыгралась уже в годы Первой мировой, когда с родных мест выселили волынских немцев. На свою беду, они жили в прифронтовой зоне. Потом потоки раскулаченных потекли на Урал, в Сибирь, на Север.

Осуждённых после ареста тоже не держали рядом с домом — их уделом становились лагеря в ещё менее приспособленных для жизни местах. Если бы не новая война, может, на том бы остановилось распыление народов, в их числе и немцев. Но война, и снова с Германией, решительно изменила карту расселения многих народов СССР.

Принудительное выселение немцев с Европейской части страны началось после выхода Указа Президиума Верховного совета СССР от 28 августа 1941 года. Сначала выселили немцев Поволжья, очень далеко проживавших от линии фронта, но оболганных в указе, вымыслы которого сохранялись до 1964 года. Потом депортировали отовсюду, где только ни проживали немцы, даже в марте 1942 года их вместе с финнами вывезли с территории блокадного Ленинграда. Все надеялись, что уезжают ненадолго, пока война. Но официально до 1972 года нельзя было вернуться в родные места. Между этими двумя датами, выселением и правом на возвращение, всё новые и новые испытания ложились на плечи российских немцев. С 1942 по 1946 год была трудармия, которая мало чем отличалась от жизни в лагерях. Принудительный труд для мужчин и женщин. Не надеялись власти, что немцы добровольно будут работать на благо страны, вносить свой вклад в Победу? А в историю никто из этих деятелей, решавших судьбы целых народов, и не заглядывал. Не знали или не хотели вспоминать, как немцы помогали русской армии в годы Крымской войны, какую помощь оказали фронту в годы Первой мировой войны и воевали тогда же. В 1948 году немцев навсегда «прикрепили» к местам выселения. Режим спецпоселения сохранялся до начала 1956 года. Лишь после 1953 года начался медленный, непоследовательный процесс реабилитации немцев СССР, который, по сути, так и остался незавершённым.

«Забытая» история всегда вспоминается только с лучшей стороны, она предстаёт даже героической. Поэтому требуется определённое мужество сказать правду о прошлом, объяснить те факты, которые не укладываются в привычную историческую схему. Автор книги пытается донести до нас свою правдивую историю, хотя кому-то она и может показаться неправдоподобной.

Доктор исторических наук

И. В. Черказьнова

*Светлой памяти мой мамы, мужественно
прошедшей наш «крестный путь»...*

XX ВЕК. МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ

БУХАНКА ХЛЕБА

Я выросла в семье, где хлеб почитался как что-то святое. Со стороны отца мои предки испокон веков были хлеборобами. На своей родине, в земле Гессен, они из поколения в поколение селяли, жали. Со стороны матери мои предки из земли Вюртемберг были мельниками. Тоже из поколения в поколение. Так что все эти люди знали цену хлеба.

Приехав в Россию в декабре 1765 года, они занялись своим привычным делом. Недалеко от волжского города Камышина (сегодня — Волгоградская обл.) основали село Мюльберг (Мельничная гора), стали строить мельницы. Мельницы Райсихов (моя бабушка была урожденная Райсих) славились в России до самой революции.

Труд был естественным состоянием этих людей. В необыкновенно тяжёлых климатических условиях Поволжья, где были засухи и суховеи, они выращивали богатые урожаи хороших (элитных) сортов пшеницы. Жизнь первого и второго поколения колонистов была борьбой за выживание. Но труд и любовь к земле приносили свои плоды. Выращивались новые сорта пшеницы, приспособленные к столь экстремальным условиям. И вскоре немецкие колонии уже обеспечивали хлебом большую часть России.

И, хотя закрома были полны зерна, каким бережным было отношение к каждому зёрнышку, к каждой крошке хлеба! Мы, дети, во всём подражали дедушке. Он не откусывал хлеб от большого куска, а бережно, почти нежно, отламывал от него маленькие кусочки и клал их в рот. Смаковал их молча, сосредоточенно.

День, когда в доме пекли хлеб, был особенным. Если бабушка начинала колдовать над большим деревянным корытом для теста,

то это для всех означало — не бегать, не хлопать дверьми. Тесту нужен покой, оно не должно опасть от стука и топота. Пекли рано утром. В доме стоял волшебный запах свежего хлеба! Недаром старые люди у нас говорили, что хлеб один из самых драгоценных даров Господа Бога.

В 1917 году мельницу дедушки Райсиха не просто отняли, но варварски разрушили. Сердце его не выдержало этого. Он умер. А второй дедушка, Шультмейстер, за свою жизнь накормивший хлебом тысячи людей, умер от голода в первую зиму ссылки на одном из рудников Восточного Казахстана.

У меня за плечами долгая и богатая событиями жизнь. Событиями чаще тяжёлыми. Одно из таких грустных воспоминаний связано как раз с буханкой хлеба.

Подходила к концу первая зима моего пребывания в трудармии. В мае скудные лучи северного солнца начали пригревать, и верхний слой снега стал подтаивать. Теперь мы 14 часов стояли в ледяной воде. Та обувь, в которой мы кое-как выдерживали сухой мороз в 50–60 °С, не защищала от воды. За ночь ноги не отогревались, они покрылись гнойными фурункулами, каждое движение причиняло боль. Никакой медицинской помощи, конечно, не было.

У дороги, по которой мы шли на работу в лес, появился инвалид войны. Он был без ног. И вот он продавал такие самодельные галоши, сделанные из старых автомобильных камер. Допотопные изделия, но они могли защитить от ледяной воды.

Но продавались они не за деньги. Каждая пара стоила буханку хлеба. Буханка хлеба в ту пору и в тех условиях была целым состоянием. Где её взять? Только отнять у себя самой.

Буханка хлеба — это наша норма за четыре дня. Значит, надо четыре дня не есть хлеба и питаться только миской мутной солёной воды, которая странным образом называлась супом.

Принять такое решение очень трудно. Я долго колебалась. Страшно было обречь себя на такое испытание, но я всё-таки решилась. О моём решении знали только две взрослые женщины (мне самой было 17 лет), которые спали рядом со мной на нарах.

В конце четвёртого дня я получила в столовой свою буханку хлеба. Как я радовалась, что уже завтра у меня будут мои галоши!

Положила её под свой соломенный матрас на нарах и вышла из землянки, чтобы набрать немного мелкого дикого щавеля, который повсюду пробивался через талый снег. Если его залить кипятком, то эта горячая кислая жидкость хотя бы немного заглушала чувство голода.

Вернувшись на своё место на нарах, я обнаружила, что моей буханки хлеба нет...

2001 г.

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК...

Сегодня я хочу рассказать вам главу, которую я назвала «Именем Советского Союза...». Почему именно так? Вы, конечно, знаете, что когда в суде судья зачитывает приговор, а человек, который предстаёт перед судом, должен получить наказание, ему следует внимательно слушать, и судья всегда начинает с этих слов: «Именем того, и того, и того», у нас это было «Именем Советского Союза». И поскольку в главе, которую я собираюсь рассказать, присутствуют эти слова, я именно так её и назвала, и вы тогда уже будете слушать и думать, правильно я дала такое название или нет.

Итак, начало — совсем короткое, но я надеюсь, что вы всё-таки многое знаете. В 1941 году все российские немцы были депортированы в Сибирь, Северный Казахстан, на Северный Урал. Это была, конечно, огромная история, как проходила депортация, я даже начинать не буду, это было ужасно, не просто ужасно, бесчеловечно.

Когда мы приехали в эти места, которые должны были стать нашей новой родиной, случилась беда, которую мы не могли себе даже представить. Через полтора месяца после нашего приезда в эти дикие места или степь, бесконечную степь в Казахстане, или девственные леса на Северном Урале, в Сибири, случилось следующее несчастье: все мужчины, мальчики примерно с 16, а в некоторых случаях даже с 15 лет были погружены в вагоны для скота и отправлены в... Это слово было совсем новым для нас, мы услышали его тогда впервые, но в дальнейшем оно стало для нас пугающим: слово «трудармия». Но мы и представить себе не могли, насколько страшным словом оно станет для всех нас.

А в скором времени пришла очередная страшная весть, что девушки и женщины тоже должны поехать в трудармию. Девочки



с 17 лет, но туда попадали и в 16 лет, и со мной была даже одна, которой было ещё 15. Я в этот момент была на семнадцатом году жизни. В некоторых местах женщинам, у которых были маленькие дети, разрешалось остаться дома, если ребёнок был младше 7 лет. А в некоторых они должны были всё равно ехать, если ребёнок был старше 3 лет. Значит, мать должна оставить трёхлетнего ребёнка в одиночестве в чужой стране, в чужом месте с экстремальным, тяжёлым, ужасным климатом и попасть в эту трудовую армию. Большинство этих маленьких детей умерли. Они замёрзли или умерли от голода. Отца забрали, мать тоже. Если в такой семье случайно была бабушка, она, конечно, как-то спасала детей. Но в основном там не было бабушек, и многие дети замёрзли, просто замёрзли.

Ну, так и я попала в трудовую армию. Ближайшая железнодорожная станция — это была станция под названием Тайнча, между городами Петропавловском и Акмолинском, прямо посередине. От нашего места это было километров 60. Это был январь, в конце декабря начался наш путь и проходил в основном уже в январе. Шли мы

пешком. Потому что на санях, которые сопровождали нас, сидели старики, которые совершенно не могли идти, и на эти сани грузился наш скарб. Но всё равно долго ехать, сидя на санях, было невозможно, мы бы замёрзли. Потому что температура -40 была обычным делом. Так мы добрались до этой станции, это заняло несколько дней, а там, под открытым небом, нам пришлось ждать ещё несколько дней, пока придут поезда. Это были 4 поезда, вагоны, в которых перевозили скот. Солома на полу, конечно, никакого умывальника или туалета, такого здесь не было — свиньям, коровам, лошадям этого не нужно. Солома и двухэтажные нары, и в каждый вагон загружено по 40 женщин, и вот мы поехали в сторону того места, куда нас везли.

В пути мы были... ну, наверное, 2–3 недели. Никакого календаря там не было, никаких часов. Никакой возможности узнать время. Ну, во всяком случае, каждый день нам давали, просто ставили в вагон, по ведру воды для питья — всего ведро воды. Иногда ледяная вода, иногда просто холодная. Еды не было — мы ничего не получали. То есть мы должны были взять с собой еду на 20 дней из того места, где мы были до этого. Так было сказано. Но так много еды ни у кого в запасе не было. Мы ведь только приехали в это место вечной ссылки и потому не получили ещё даже хлебных карточек, потому что казахи сказали (мы были с мамой в Казахстане) — Гитлер должен нас кормить, а у казахов нет для нас хлеба. Поэтому голод начался уже в пути. Итак, 2–3 недели прошли в пути, и когда мы приехали туда, в то место — уже сейчас я прочитала, что эта станция называлась Усолье — станция, совсем маленькая станция в первозданном лесу, и вокруг лес, лес, лес. Но когда нас выгрузили, и мы пешком прошли по лесу большое расстояние — и это я тоже где-то прочитала — что этот маленький городок называется Березники. Это в Пермской области, в самом центре Урала.

Ну, наконец-то мы прибыли в то место, где нас должны были поселить. Там были такие постройки из досок, по-русски они называются «баракы». Обогрев состоял из трубы, она шла по стене, вдоль стены, такая толстая труба, и она была тёплая, это и было отопление. Нары, двухэтажные нары с соломой, совсем небольшое помещение, может быть, 15–16 квадратных метров, и в каждую



комнату должны были поместиться 40 женщин. Так что с каждой стороны нары, и на каждых нарах по 10 женщин, лежащих на соломе, больше ничего. Не было ни места для умывания, ни туалета, всё было примитивно, как вообще-то бывает в хлеву. И я имею в виду, что у хороших хозяев для скота это, вероятно, было лучше устроено. Мы уже на первый, на второй день поняли, что о мытье не может быть и речи. Мы попробовали снегом лицо... вымыть, можно сказать. Но ведь были такие страшные морозы. Снежинки... снег был такой острый, снежинки были словно острое стекло, и мы просто резали ими кожу. И тогда мы перестали пытаться умываться им, мы отказались от этого. Про туалет речи тоже не было. Пожалуйста, лес большой, вот, пожалуйста, сделайте в этом смысле что хотите.

На следующее утро, в 5 часов, нас разбудила дежурная — сильная, здоровая женщина. Был там ещё такой колокол, который будил нас: «Быстро, быстро, вставать, быстро, быстро, одеваться». И мы отправились на работу. В этот день, в свой первый день, мы узнали, что, собственно, мы должны были здесь делать.

Женщины, с которыми я приехала в одном вагоне, были крестьянками. Никто из них не знал русского языка. Они немного знали польский, потому что были из тех немцев, которые гораздо позже прибыли в Россию, чем мы, поволжские немцы. Они приехали в Россию в середине XIX века. И жили на западной границе России, на границе с Польшей. Поэтому их немецкий язык содержал уже очень много польских слов. Но по-русски они не могли сказать ни слова. Поэтому я была единственной, кто знал русский язык, и самой молодой. И, кроме того, женщины говорили по-немецки совсем иначе, чем я: я говорила на швабском диалекте, как говорят наши поволжские немцы. Ведь поволжские немцы в основном родом из Швабии, из Вюртемберга. И эти женщины, я не знаю, из каких земель они были родом в Германии, но на самом деле они говорили почти на литературном немецком. И они всегда высмеивали меня за мой швабский диалект. И не просто высмеивали, а я всегда чувствовала что-то недоброе с их стороны. Я была очень грустная и отстранённая, я впервые в жизни разлучилась с матерью, и мне, конечно, было очень тяжело.

Я была единственной, кто понимал приказы охраны — ведь нас же охраняли, нас вели на работу люди с ружьями и с собаками — я понимала эти приказы, которые они нам давали, а женщины их не понимали. И потому уже в первый день случилось так, что я стала бригадиром. Охранник сказал: ты будешь бригадиром, и ты будешь переводить женщинам, что я им приказываю. Ну, и при таком поведении со стороны женщин, не особо дружелюбном, я теперь ещё должна им что-то там приказывать, ну или переводить, в общем, хотя это был всего лишь перевод, меня это всё равно очень мучило. Но я была вынуждена: он сказал — ты будешь бригадиром.

Путь пролегал по снегу, никто нам дорогу не расчистил перед тем, как мы вышли, а мы же ещё были все очень плохо одеты. Женщины все были деревенские, их одежда была более подходящей для таких скудных условий. Но я была городским ребёнком, на мне были маленькие симпатичные ботиночки, маленькая шляпка на голове, пальтишко, в котором я ходила в городе, мы жили в Саратове. И, конечно, в первый момент я совсем замёрзла.



Работали с 8 утра до 8 вечера, в 12 часов перерыв. Тогда звучал очень громкий колокол, и мы могли отложить наши инструменты на полчаса и получить еду. Еда состояла из миски, ну, честно говоря, грязной, солёной воды. А главное, главное сокровище — это был кусок хлеба, выдававшийся на весь день. Это было 800 граммов хлеба. 30 минут, ни минутой больше, потом надо было снова приступать к работе. Работа была такая: мы должны были валить деревья. Деревья... мы пытались вдвоём обхватить дерево, и наших рук не всегда хватало на это. И такое дерево нам приходилось парами день напролёт пилить, и не всегда нам удавалось это дерево повалить. Кроме того, мы ведь не были настоящими лесорубами, ведь это же вообще искусство — надо знать, куда дерево упадёт, а мы этого не знали, и потому с первого дня было очень много несчастных случаев. Дерево падало туда, где мы стояли. Так мы и поняли, что никакой милости, никакого сострадания, ничего. Голод, мороз, но было ещё одно, что нас ожидало, а мы этого, конечно, не ожидали. В 8 часов вечера, ни минутой раньше, нам разрешали прекратить работу и, выйдя из леса, вернуться к этим баракам, где мы ночевали.

И это было где-то, может быть, на самой окраине города. Во всяком случае, других зданий мы не видели.

А через несколько дней мы узнали, что кроме страшного мороза и голода — только эта миска грязной воды раз в день. Что было в этой воде? Была варёная картофельная шелуха, была варёная гороховая шелуха, и были селёдочные хребты. Не мясо селёдки, а именно варёные хребты. Отходы, которые должны быть в мусоре. Это всё варилось, очень сильно солилось, и мы это получали как суп. Спасение, единственное спасение, был кусок хлеба. Первые дни женщины выдерживали, разламывали хлеб, половину прятали на груди, потому что иначе нельзя было его сохранить, нельзя было просто куда-то его положить. Я и лес, ничего больше. Его сразу украдут, или он замёрзнет. Поэтому половину хлеба прятали на груди, и её съедали вечером в этом бараке, где мы спали, просто с холодной водой из ведра. А через несколько дней я заметила, что женщины съедают второй кусок хлеба ещё до наступления вечера, раньше, они не выдерживают до того момента, когда пройдут весь долгий путь домой. Ну, домой, в смысле до бараков. А это очень плохо.

Я была самой молодой, но у меня была очень твёрдая воля. Я делила хлеб и прятала половину на груди. Половину съедала на обед, а вторую половину не трогала, пока мы не оказывались в бараке. Там я садилась, брала кружку с водой и съедала его. Потому что я знала из рассказов родителей, особенно отца, что во время революции и гражданской войны, когда на Волге был страшный голод, первыми от голода погибали люди, которые свою дневную норму — то, что они могли себе позволить в день, — съедали за раз. Они не делили её, не могли выдержать. И отец всегда говорил: когда придёт голод, а еды совсем мало, раздели её на две части и ешь одну днём, а другую на ночь. Смертельный голод начинается тогда, когда человек съедает сразу всё то, что у него есть на день. Я следовала совету отца.

Я опишу ситуацию, которую мы не ожидали, но которая наступила в первые два дня. Значит, голод и страшный мороз. И немилосердно тяжкий труд. Немилосердно, потому что женщина не должна выполнять такую тяжёлую работу, а мы, молодые девушки — мы всю жизнь вспоминали об этом, потому что это отразилось на нас физически. Об этой работе, которую ни одна девушка в 16, 17 лет

не должна выполнять. Так вот что случилось с нами через два дня... Мы лежали по 10 человек на нарах, на спине лежать было нельзя, для этого просто не было места. Мы все должны были лежать на одном боку, а потом в середине ночи было можно перевернуться на другой бок, плотно прижавшись друг к другу. Через два дня мы почувствовали, что наши тела горят. Горят, как от пламени. Как будто мы приговорены к сожжению, как это было в средние века, когда ведьм сжигали на костре.

Старухи, пережившие гражданскую войну, говорили: девочки, это вши. Знаете, что это такое, вши? Это насекомое, которое живёт в одежде, а питается на теле человека, нашей кровью. Младшие не знали, что это такое, но потом, когда старшие сказали — раздевайтесь, и давайте посмотрим в платьях — это был ужас. Одежда кишела ими. Мы были только из дома, ну, как сказать, из дома — из того места, где мы находились в ссылке, у нас больше не было дома. Это был не наш дом, это было место наших мучений. Но даже в этом месте можно было помыться, можно было держать одежду в чистоте, можно было гладить её — и вот мы ехали пару недель, а потом здесь работали в лесу и не мылись, не мыли даже руки, даже лицо, ничего. Можете себе представить?

Мы завидовали людям, сидящим в тюрьме, потому что здесь неподалёку, мы проходили это место по дороге на работу, была тюрьма. Лагерь для заключённых. И когда мы после 8 вечера, такие уставшие, что у нас не было сил, не было желания жить, ничего не было, проходили мимо этого лагеря, мы слышали, как там играют на гармошке, и поют, и громко говорят... Они работали, заключённые в лагере работали до 6, и каждые 10 дней у них была дезинфекция одежды, а потом они должны были мыться. В тюрьме. А у нас в трудармии такого не было. Так мы уже много недель, можно сказать, были в пути, и все без мытья. Так что делать? Мы приходили с работы, всё снимали и начинали чесаться, а через пару дней мы заметили, что наше тело всё в нарывах, в гное...

И тут началось, старые женщины говорили — девочки, это чесотка. Это чесотка, страшная болезнь, это болезнь нищеты, гражданской войны, всех войн. Все войны — посмотрите в Европе, сколько войн, Тридцатилетняя война, Столетняя война, Семилетняя война,

все войны... Во время войн всегда приходили инфекционные заболевания, когда целые деревни, целые города вымирали. Вымирали. И так же теперь обстояли дела и у нас. Так что никакого спасения не было, никому ничего не скажешь. И так прошла ещё неделя, и ещё неделя, женщины уже не разговаривали, всё больше молчали, никто ничего не говорил, не было и речи о разговорах. Приходили, быстро-быстро раздевались донага, и чесались, и чесались, и от этого становилось всё хуже, хуже, хуже, и однажды, однажды вечером, женщины боялись лечь спать, потому что чем плотнее мы лежали друг с другом, тем сильнее страдало тело, это было ужасно. Так мы и забыли о голоде, о морозе, о немилосердно тяжёлом труде — мы только и думали, как избавиться от этого кошмара. Тело всегда горело.

Однажды вечером мы, как всегда, зашли в бараки, узкие нары с обеих сторон, а между ними совсем узкий проход и 40 женщин, все голые, и... А я всегда молчала. Я ведь боялась этих женщин, я уже говорила, и вот вдруг посмотрев на них, на их лица... Они были, знаете ли, не совсем нормальными, словно не в себе. Глаза у них уже были, ну как это сказать, безумные — нет, нехорошо было бы так говорить. Но мне сразу же стало страшно, очень страшно. Я сказала... и вдруг я услышала, как говорю что-то, а я ведь никогда не осмеливалась что-то сказать. Я сказала: женщины, мы погибнем, если сейчас не поможем сами себе. Никто нам не поможет. Никто нам не поможет. Мы должны сами себе помочь. Одна пожилая женщина сказала: нам никто не поможет, Бог покинул нас. Бог нас покинул, и никто нам не поможет. Мы должны погибнуть. Я сказала: «У меня есть план, я попробую». Я всегда немного боялась этих женщин, потому что они были намного старше меня, да и чужие. Но в эту минуту я увидела, как жалко выглядят бедные женщины, как они несчастны и беспомощны, хотя я была ещё совсем молода, моложе их всех. Мне стало их так жаль, я думала — должен же быть какой-то выход, мы же не можем сейчас погибнуть все сразу из-за чего-то такого, что легко можно исправить. И я с детства помню: иногда, когда мы были у моих бабушки и дедушки, всего пару дней в деревне у дедушки и бабушки Шульмейстер, на Волге, я очень интересовалась хозяйством, всегда была с дедушкой в хлеву, всё рассматривала.



И я часто видела, что он, когда лошади приходили вечером с пашни, распрягал их и очень внимательно осматривал их тела, а потом иногда что-то брал из большой жестяной банки и втирал в их кожу; и она пахла так отвратительно, эта мазь. Я спросила его, что это такое и зачем. Он ответил, что лошадь могла повредить кожу во время работы, и её надо обязательно смазать, чтобы она до завтра зажила, и лошадь можно было снова запрячь... И тут я подумала: о, если бы сейчас можно было разыскать такую мазь для женщин. Тогда чесотка прошла бы; со вшами я, конечно, ничего сделать не могла. Против этого могло помочь только одно: дезинфекция нашей одежды.

Утром, когда нас совсем рано разбудила эта женщина, такими криками, очень злая была женщина, мы вышли, встали по три в ряд, и нас под конвоем повели на работу. Я сказала стоящей рядом женщине: «Послушай, когда мы сейчас будем проходить мимо деревьев... — было совсем темно, ведь была зима, в 7 часов утра, абсолютная темнота, — я выйду из ряда, спрячусь и ускользну». И так я и сделала. Мы не видели ничего вокруг, кроме первобытного леса, но мы

часто слышали, как лают собаки, деревенские собаки. И часто, когда нас вели поздно вечером обратно, мы чувствовали, что где-то невдалеке топят дровами печи, и дым был такой приятный, он сразу наполнил нас о доме, о домах на родине. И я предположила, что, вероятно, неподалёку есть село. Ну а у меня впереди был целый день, и вот я походила туда-сюда, посмотрела на лесные тропки, и действительно, за короткое время выбралась к совсем небольшому поселению. На самом деле это были всего два-три дома и хлев. Я по запаху поняла, что это конюшня. Там стояли разные сельскохозяйственные орудия, и тут я увидела старика, молодые ведь все были на фронте, в глубинке остались только старики.

Я подошла к старику, поздоровалась, и так как я прекрасно говорила по-русски, он не мог понять, что я немка; при этом жители наверняка знали, что рядом есть лагерь с немцами, трудовой лагерь. Тогда, может быть, он бы меня... Ну, не знаю, как бы он ко мне отнёсся, если бы узнал, что я немка, ведь люди были так подготовлены нашей пропагандой, что все мы, все поголовно враги и предатели. Но он не мог понять, что я немка, и потому был вполне дружелюбен, и спросил, чего я хочу. Я ответила: так и так, у нас чесотка, и мы не можем помыться и постирать одежду, и пусть он даст немного мази, которой он смазывает вечером кожу лошадей. Ох, сказал он, у меня этого добра полная бочка, можешь взять хоть целое ведро. Я говорю, ведро не могу, но возьму небольшую баночку. Я говорю: у меня 40 женщин в бригаде, и мы хотим помочь себе, потому что это очень неприятно. О, сказал он, да, нам это знакомо. Но вы должны вынести свою одежду на ночь на мороз, на снег, и тогда все насекомые передохнут. Я говорю: ой, это опасно, её украдут и мы останемся голыми, и тогда... как нам быть дальше? Так что полечимся этой мазью, а потом посмотрим. Может быть, нам всё-таки разрешат помыться.

И вот он дал мне эту мазь, и я медленно пошла обратно к нашему лагерю, но я была так голодна, потому что пропустила свой обед. Я ведь не была на работе, и сейчас не могла пойти туда одна, это было далеко, и я не знала дорогу. Так что, значит, голодная — страшно голодная, — сонная и уставшая. Во всяком случае, к тому моменту, когда женщины пришли с работы, как всегда поздно, вернулась



и я. Я сказала: «Женщины, теперь раздевайтесь, быстро, — и показала всем лекарство. — Мы сейчас начнём лечиться хотя бы от чесотки». А дальше посмотрим. Ну и действительно, они, как всегда, разделись и начали чесаться. И вот я показала им, где и как примерно смазывать кожу, и сказала, что каждая должна смазать другой спину, а впереди сами. И пока мы это делали, я спросила: что было сегодня в лесу? Ну, сказали они, как всегда, и Эльза была там. Эльза — это была женщина из нашей бригады, красивая молодая женщина, прекрасная, как ангел. И таким хорошеньким девушкам не приходилось выполнять тяжёлую работу. Вы понимаете, что я имею в виду. Такие хорошенькие девушки не ходили в лес. Их сразу же занимали на какой-нибудь лёгкой работе, но я бы не хотела быть на месте одной из этих хорошеньких девушек. А её работа состояла в том, что она должна была каждый день отмечать в тетради, что каждая из нас пришла на работу. Когда мы были в лесу, 40 человек, а рядом с нами была ещё одна бригада — целая толпа людей. Тут даже сосчитать нельзя, поэтому она просто спрашивала: все тут? Ну, одна из наших женщин, честная, как младенец, сказала: «Да, но Гретель нет». Итак,



в тетради отмечено: Гретель нет. Но я просто спокойно продолжала мазать. И тут женщины легли и — облегчение. Это была чудо-мазь. На следующий день мы сделали это снова, и снова, мази хватило надолго.

Через два-три дня эта Эльза пришла в лес, разыскала меня и сказала: «Сейчас же оставь работу, пойдём, я тебя отведу к начальнику». Начальник, это тот, кто над нами, так сказать, тот, кто отдаёт приказы. Глава, главный человек, которого мы все боялись. «Это правда, что тебя не было на работе в тот день?» Да, сказала я. «Ну, иди». Я вернулась в лес... Даже не спросил, почему меня не было — может, умерла, или была температура 40 градусов, или ещё что. Так что неважно: тебя не было — и всё.

Прошло ещё несколько дней, я даже не думала о случившемся. Вдруг опять эта Эльза приходит в лес, даёт мне бумагу и говорит: «Ну, смотри, вот адрес. Ты должна в этот день в это время поехать в город Березники, в это здание, вот номер дома», — и всё, всё это написано на бумаге. Я всё ещё не думала о том, что это значит. Так вот, в тот день с этой бумагой я не пошла на работу... За тот день, что

я ходила за этой мазью, я провела полдня у начальника, и ещё день ушёл на то, что мне пришлось пойти в город и вообще искать, где он находится. Ну а потом я действительно нашла это здание, это заняло некоторое время, и я снова пропустила обед, и потеряла кусок хлеба, конечно, потому что никто не дал бы мой хлеб другому, ни в коем случае. Так что я в этот день снова осталась без хлеба.

Я вошла туда, в комнату, на которой был написан нужный номер, и постучала; вышла женщина, я показала ей бумагу, она сказала: «Садись туда и сиди, тебя вызовут». Я всё ещё не думала ничего плохого. Не знаю, сколько там времени прошло, может, час, может, два, может, три. Сонная, голодная, уставшая. Наконец дверь отворилась, вышла эта женщина и сказала: «Входи». Я зашла в огромную комнату, а в углу стоял огромный письменный стол, и за ним сидела женщина.

Этот момент очень интересен с психологической точки зрения. Я уже привыкла за несколько месяцев, что я была в этой трудармии, к тому, как выглядят люди, хотя их вообще нельзя было уже называть людьми. Многие уже ползали вокруг куч мусора, вытаскивали что-то и клали в рот. Была ли это мышь, или ещё что. Трава, жевали просто траву. И вот за столом сидит женщина, и я не могу описать, какой толстой была эта молодая женщина. И... я ведь девушка, я смотрю, что на человеке надето, особенно на женщине. И на её платье, на груди, были пуговицы. И я подумала... это просто ещё раз показывает, каким глупым ребёнком ещё была. И вот я смотрю и думаю, ведь эти пуговицы, они же сейчас... Она же треснет, ткань на её груди треснет, такой толстой была эта женщина, и пуговицы отлетят, они же просто оторвутся. Я не думала, зачем я здесь и чего хочет от меня эта женщина, такая глупая я была, и думала: ну как, отчего женщина такая толстая, если все мы уже гремим костями.

И вдруг она закричала на меня, чтобы я произнесла своё имя, фамилию и отчество. Моего отца зовут Константин. И я так и сказала, меня зовут Маргарита, и по-русски ещё говорят Константиновна, раз надо сказать отчество, и тут она так зло рассмеялась. «Наверное, твоего отца зовут Конрад, и ты перевела на русский язык, дала ему русское имя, которое звучит по-русски, мол, он Константин». Мой отец был крещён как Константин. А эта женщина даже



не допускала, что моего отца зовут Константин. Она хотела, чтобы он был Конрадом, или вообще Гитлером.

Так вот, я сидела и смотрела на эту женщину, и удивлялась, и ни о чём больше не думала. И вдруг слышу, как она говорит такие слова: «Именем Советского Союза...» — и встаёт, стоит. «Именем Советского Союза...» — и я подумала: «Отец Небесный, так ведь начинает судья, когда хочет зачитать приговор». Так это суд? Значит, я стою перед судом? И тут я поняла, что пришла сюда не просто для того, чтобы посмотреть на женщину, а для того, чтобы выслушать какой-то приговор.

А приговор звучал так, если совсем кратко: поскольку я пропустила рабочий день, меня не было в лесу, не было на работе, я буду наказана за это. И в этот момент пришла мысль: какое наказание я могу получить? Штраф я заплатить не смогу, денег я не видела уже несколько лет, и в тюрьму меня тоже не посадят, потому что я уже, можно сказать, в тюрьме, так что может произойти? Но они хорошо знали, где самое больное место: голод. И это значило, что на 6 месяцев мне сократят выдачу хлеба на 25 процентов. Так вот,

от этого куска хлеба, который я получала каждый день, раз в день, в полдень, теперь отрезают часть, и я теряю 200 граммов хлеба. Это был именно тот кусок хлеба, который я, как уже говорила, прятала на груди, когда получала хлеб, отламывала кусок, прятала и съедала на ночь, когда мы приходили из леса. Да, и всё это происходило очень быстро, быстро, быстро, быстро, и потом она закричала на меня: поняла ли я, что она зачитала? Да, сказала я, поняла. И я должна была выйти и пойти домой. Ну, домой, так сказать нельзя, у нас ведь давно не было дома. У нас не было дома, не было с 28 августа 1941 года. У нас было место для вечной ссылки, но это нельзя было назвать домом, это было место, где мы должны были оставаться, пока не умрём.

Поздно вечером я пришла домой, то есть в бараки, где мы жили. Женщины ещё не пришли из леса, но скоро они вернулись. Однако их особо не интересовало, где я была и зачем, но я сказала, что я наказана, полгода я буду получать меньше хлеба, и мне, конечно, очень страшно, потому что может стать совсем голодно. Все молчали, никто из женщин не сказал ни слова. Потом мы начали мазать кожу этой мазью, с которой, собственно, и началась вся эта история, а потом все снова легли на нары и проспали до следующего утра. И так всё закончилось. Это было ужасно.

И очень скоро — я уже была слаба, очень слаба, исхудала, — нехватка хлеба очень скоро показала мне, как быстро я могу потерять остатки сил и здоровья. Главное, я день ото дня чувствовала, как быстро уменьшаются мои силы, и я уже не могла выполнять ту работу, которую должна была. Часто у меня всё просто валилось из рук. Я не могла больше поднимать тяжёлые-тяжёлые бревна. Ну и примерно через два месяца наступил момент, когда я уже не могла работать. Просто не могла. Я опустила и сидела, ни о чём не думая, а надсмотрщик кричал, ругался изо всех сил. Но я смотрела на него совершенно равнодушно, я уже не понимала, чего он, собственно, от меня хочет. Ну и всё-таки прошло ещё около месяца, это было уже, наверное, в августе, и он понял, надсмотрщик, главный надсмотрщик, что от меня уже нет никакой пользы, и меня перевели в бригаду, которая называлась «для слабых», можно так сказать. Для женщин, от которых уже никакой пользы нет.



Которые не могут ничего делать. Даже если бы их убивали, они больше не могли работать.

Вместе со мной пришли несколько женщин в эту бригаду, по-русски она называется бригада «доходяг». Люди попадают в такую бригаду и просто сидят и лежат. Ну и задач у нас не было, кроме как, например, целый день ходить с большим ящиком, каждый получил такой ящик, и пойти куда-то, потащиться, я бы сказала, на стройки и собирать старые гвозди. Собирать старые гвозди. А потом, когда мы собирали полный ящик, мы могли сесть, нам выдавали молоток, и мы должны были выпрямлять гвозди, старые, кривые гвозди. Представьте себе, что это была за работа. Там не было ни нормы, ни плана, мы могли обрабатывать один гвоздь полдня — никто нам ничего не говорил. И так продолжалось всю зиму.

Месяцы шли один за другим, мы становились всё слабее и слабее, а поздней осенью или в начале зимы появились слухи, что совсем слабых, от которых уже нет никакой пользы, отпустят. Но было ли это правдой, мы, конечно, не могли знать. Мы, собственно, ни о чём не думали. Ни о чём. Такое состояние, когда человек уже выключен из того,

что его окружает. Мы не могли ни о чём думать... раз в день этот суп, грязная, солёная вода, которая называлась супом, и кусок хлеба, урезанный. Но зима прошла, а к весне слухи стали реальностью, и в конце марта сказали, что люди в этих бригадах доходят должны собраться, их отпустят и привезут в то место, откуда они приехали, то есть меня, например, туда, в этот казахский посёлок, где жила моя мать.

Так и случилось, уже в начале апреля я и ещё несколько женщин, совсем больных, двое из них имели большое сердце. Мы получили бумагу, не билет, а просто бумагу о том, что мы должны туда-то и туда-то прибыть. Это ведь очень далеко, и пришлось сделать много пересадок, а регулярные поезда не ходили. Мы должны были искать возможность проехать с одной станции на другую, там выйти и ждать следующий. Наконец, 4 апреля 1944 года я доехала до места, где жила моя бедная мама. Но о том, как она меня встретила, если можно так сказать, об этом будет мой другой рассказ.

Вот и вся история, как я хотела помочь женщинам, а также и себе, конечно, ведь я тоже была одной из этих женщин, которые так страдали от этой ужасной напасти: от этой болезни и от грязи. К этому времени нам, как правило, разрешалось раз в два месяца на полдня не выходить на работу — всем сразу, не поодиночке — и помыться. И это было единственное, что у нас было.

Но я хочу сказать ещё немного, маленький постскрипtum к этой истории. С того момента, как мы встретились с матерью, прошли годы, 10 лет, 20, 30 лет. Мы уже стали свободными людьми, мы уже могли ездить куда угодно, я уже вышла замуж, мой муж уже умер, про это я тоже расскажу, у меня уже был сын, в общем, это было примерно в середине 70-х годов. Мы жили в Волгограде тогда, на Волге, а мой сын учился в Петербурге, в университете; так что мы были — словом, мы были свободными, совершенно свободными людьми. Но ни разу за эти десятилетия я не рассказывала своим близким или вообще кому-либо, что мне пришлось пережить в трудовой армии. Потому что это было так ужасно, так кошмарно, и я не хотела причинить им ещё больше горя. Ну и когда я приехала к маме, в 1944 году, она и сама по мне увидела, каково мне пришлось. Потому что к ней приехала не девушка — это было привидение. Жалкий, больной призрак.



У моего сына выдалась пара свободных от университета дней, он приехал в Волгоград, чтобы проведать меня и деда. Два дня он был дома, а потом должен был улететь, и вот я провожала его в аэропорт. Дело было поздней осенью, был такой туман, что мы весь день сидели в аэропорту и ждали рейса, но снова и снова приходило сообщение, что рейс задерживается, рейс задерживается, всё из-за тумана. Наконец, вечером, примерно в 7 часов, было объявлено, что все, кто должен был этим рейсом улететь в Петербург, могут спокойно вернуться домой, переночевать там и утром, в 6 часов, снова приехать в аэропорт; возможно, туман всё-таки рассеется, или как там говорят, и можно будет улететь. Так что мы вернулись домой, переночевали, отдохнули, а утром очень рано вернулись в аэропорт. Но сидеть там пришлось ещё полдня. В эти долгие часы — сначала целый день, потом ещё полдня — мы уже всё обсудили, подремали, пару раз поели; и как это произошло, я не помню, вот уже 50 лет прошло с этого момента... как так вышло, что я рассказала своему 18-летнему сыну историю о том, как я предстала перед судом за то, что однажды не явилась на работу. Почему

я это сделала? Ну, полсотни лет прошло, конечно, я уже не помню и никогда не вспомню.

Но самое интересное, что я хочу вам рассказать — это реакция юноши. Итак, я рассказала ему то, что только что рассказала вам, и он первым делом спросил: «А что сказали эти женщины, когда ты вернулась в барак?» Я ответила: «Ничего они не сказали». — «Как же? Сколько женщин было в твоей бригаде?» Я сказала: «Сорок». — «И они не предложили тебе никакой помощи?» Я сказала: «Да, а как они могли мне помочь?» Тогда он сказал: «Мама, ты теряла 200 граммов хлеба каждый день. Для тебя, в той ситуации, это было... либо тебя спасут, либо ты погибнешь от голода. И с тобой было 40 женщин: теперь раздели 200 грамм на 40. Каждая должна была дать тебе крошку хлеба от своего куска, 5 грамм. И тебе бы вернулось то, что тебе урезали по суду с хлебной карточки. И ты бы не была так быстро, как сказать, казнена голодом». Знаете, я онемела от стыда, потому что в тот момент даже мне самой в голову не пришла эта мысль. А мальчику она пришла в голову: почему женщины, 40 взрослых женщин, не пришли на помощь самой молодой девушке в бригаде, которая всем сердцем желала им помочь?! Это так потрясло меня, я подумала: «Боже мой, если у мальчика такое сердце, что он так отреагировал, ему будет тяжело в жизни. С таким сердцем, мой мальчик, ты хлебнёшь лиха». Это было уже много лет назад, моему сыну сейчас 67, а в тот момент было где-то между 17 и 18. А я снова и снова думаю, как он тогда это воспринял.

2019 г.

МОЙ ПУТЬ С УРАЛА В КАЗАХСТАН. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДНОМ ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ

Когда меня попросили написать свои воспоминания о праздновании Пасхи в детстве, то я сразу сказала, что рассказ мой получится скорее грустным, чем радостным и праздничным. Но с этим согласились, и вот я пишу.

Мне было четыре года, когда последний раз Пасха праздновалась открыто. Это было в 1929 году. В доме всё блестело от чистоты, волшебные запахи куличей чувствовались даже на улицах. Дети возбуждённо носились со своими подарками, которые им принёс пасхальный заяц. Накануне все мы ставили в укромных уголках свои шапочки, так как именно в них Остерхазе клал свои подарки, при этом непременно перепрятывая шапки.

Вся радость заключалась именно в том, что, встав рано-рано в пасхальное утро, мы по всему дому искали каждый свою шапочку — остернест. Поиски шли от погреба до чердака. И звучали возгласы радости, когда подарок был найден.

Вся женская часть семьи была в белоснежных кружевных (специально для Пасхи) передниках. В них женщины шли в церковь к утренней службе.

Дети радовались, не ведая беды, взрослые были напряжены, лица их часто застывали в озабоченном раздумье. Уже полным ходом шли аресты пасторов. И Пасха 1930 года была скорее траурной датой, чем праздником. Церковь закрыта, пастор в тюрьме, семья в ожидании своей горькой участи. Бабушка тем не менее надела свой кружевной фартук, задернула плотно шторы на окнах, села в своё большое кожаное кресло, нас усадила у своих ног на низкие скамеечки и тихим голосом долго читала нам Библию.

И на этом мои детские воспоминания о праздновании Пасхи прерываются — их просто больше нет. И всё-таки именно о Пасхе,

которую я пережила через много-много лет, мой рассказ. Для меня этот первый день Пасхи был днём спасения, воскрешения почти из небытия.

1944 год. Шла третья зима моего пребывания в трудармии. Мне «уже» восемнадцать лет. Позади две травмы на лесоповале, многократные обморожения, перевод в слабосильную бригаду, члены которой ещё кое-как выполняли лёгкую работу. Всё это позади, а в настоящем — полное истощение, полная отрешённость от жизни. Я перешла в разряд «доходяг» (не уверена, что это слово можно перевести на немецкий язык).

С начала зимы появляются слухи, что доходяг будут отпускать домой. «Домой» — это слишком сильно сказано. Дело в том, что с 28 августа 1941 года у нас, немцев, нет дома, а есть пункт на географической карте СССР, который называется местом вечного поселения.

Мой такой пункт — посёлок ссыльных поселенцев № 12 на бескрайних просторах Северного Казахстана. В этом пункте, который должен мне навечно заменить дом, обитает моя мама. Не живёт, а именно обитает. Она очень слабенькая, болезненная и очень нуждается в моей помощи. Моё сердце разрывается при мысли о ней. А эти мысли всегда со мной. Она живёт ещё с двумя семьями немцев в глинобитном домике — одна комнатуха, глиняный пол, — который зимой занесён снегом по самую печную трубу. Уже давно нет известий от неё, да и она ничего обо мне не знает. Война — какая уж тут связь! Каждая из нас не раз уже просталась навечно с другой. Жадно ловлю слухи. Задаю себе вопрос: «А достаточно ли я уже доходяга, отпустят ли меня?» Проходят месяцы. И в один из дней марта слухи становятся явью. Быстро, быстро собраться! У меня, «к счастью», только то, что на мне — солдатский бушлат (из госпиталей нам привозили их с умерших и раненых) со следами крови и пуль; такая же шапка. Самое невообразимое — это обувь: огромные лапти, в них положены мелкие еловые веточки, куски чёрной плотной бумаги (толь или рубероид); бечёвками вся эта конструкция привязана к моим несчастным обмороженным ногам.

Получаю хлебную карточку и дорожный документ. Его надо хранить пуще хлебной карточки. В нём удостоверяется, что

я должна проследовать через железнодорожные станции: Березники, Соликамск, Гора Благодатная, Чусовая, Нижний Тагил и т. д. Никаких отклонений от маршрута не должно быть — военные коменданты на железной дороге (как, впрочем, и везде) не любили шутить. Конечная станция — Тайнча, примерно в 120 км от Петропавловска.

Никакого расписания, никаких номеров поездов. От станции к станции надо было добираться на товарняках, воинских эшелонах, рабочих поездах. В основном в тамбурах.

Приехав на очередную станцию, надо было первым делом бежать к дежурному коменданту и узнавать, что и когда идёт на «мою» следующую станцию. В тех местах в марте ещё лютая зима.

Сил не было уже в начале пути, а тут ещё беда — пока разознаешь насчёт поезда, уже не успеваешь найти хлебный ларёк, чтобы получить свою «пайку». А часто, найдя его, читаешь надпись: «Сегодня хлеба нет». В дороге я была, по-видимому, дней 10–12. Хлеб удавалось получить считанные разы. Ко всему ещё привязалась ко мне кишечная инфекция, которая стремительно уносила остатки сил. Только мысли о маме давали мне ещё эти сверхъестественные силы продолжать свой крестный путь.

Прибыв на конечную станцию Тайнча, поняла, что этим мой крестный путь ещё не окончен. До «моего» посёлка № 12 ещё 60 километров. Мороз. В моём одеянии и, главное, при физическом истощении пешком идти я не могла.

На станции жили вольные люди (ссылных на железнодорожной станции не селили). Они посоветовали мне пойти на элеватор и там поискать оказию. Из глубинных районов сюда привозили зерно и обратно ехали порожняком.

И действительно, в тот день был обоз с посёлка № 12.

Очень старый возница согласился взять меня, тем более узнав, что я «оттуда». На полозьях саней стоял длинный (3–4 метра) ящик в форме корыта или гроба. В нём и возили зерно.

Сейчас он был пустой, на дне немного соломы для корма лошадям. С помощью старика я забралась в это сооружение, и лошади тронули. Измученные, тощие колхозные клячи. Жалко было их. Мне было как-то неловко, что они, такие слабые, везут меня.

Но совесть меня мучила недолго, очнувшись я от того, что старик тряс меня, тормозил, будил и приговаривал: «Горе ты моё, ты же уже уснула холодным сном (замерзающие люди сначала засыпают, в Сибири это называется холодным сном), скорей вылезай, беги, разогревайся!» Он вытащил меня из саней. Куда там бежать! Я, держась за край саней, еле брела.

Были мы в дороге дня два, где-то ночевали, кормили лошадей, мне давали пить горячую воду. На третий день с раннего утра выглянуло ослепительное солнце. Старик зорко следил, чтобы я не заснула.

И вот показался посёлок! Как жаль, что у меня не было сил обрадоваться этому. Старик знал, в какой землянке живёт моя мама. Зная, что я сама уже и шагу не сделаю, он подъехал к дверям, вытащил меня, как ворох тряпья, из саней, толкнул ногой примёрзшую дверь и сказал: «Вот, мамаша, привёз тебе...» И, видно, не зная, как же сказать, что именно он привёз, продолжил: «...вот, пожалуй, ЭТО».

Так я и сидела у порога, как ворох тряпья. Мама стояла окаменевшая. Ни слова, ни слезинки с обеих сторон. В свои восемнадцать лет я уже знала, что для того, чтобы плакать, надо ещё силы иметь. Потом мама опустилась передо мной на колени. Худенькая-худенькая, тронула меня осторожно и тихо спросила: «Это ты, дитя моё?! Ты воскресла?!» И ещё тише добавила: «Отец наш небесный услышал мои молитвы, дитя моё. Сегодня первый день Пасхи».

Это было 4 апреля 1944 года. Господи, прости их! Прости тех, кто сотворил всё это с нами!

2001 г.

ЦЕНА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Из всей своей долгой жизни, а я напоминаю, что мне 95-й год пошёл, и я, конечно, не могу всю свою жизнь рассказать, потому что столько было глав, если это перевести на язык книги. Это столько глав было бы, что не хватило бы ещё 95 лет, чтобы рассказать всё. Как Шахерезаде в «1001 ночи» рассказывать каждую ночь. И вот из всей этой своей долгой жизни, которую назвать однообразной никак нельзя, я решила выбрать одну главу.

Образование было запрещено, разговор на немецком был запрещён. Как же я, в конце концов, получила высшее педагогическое образование и окончила физико-математический факультет и потом много лет занималась одним и тем же? Преподавала математику и физику, и вот об этом хочу сейчас рассказать.

Меня зовут Маргарита Константиновна Шульмейстер, я отношусь к группе людей, которых во всём мире называют «Ruslanddeutsche» — российские немцы. Но история появления моих, наших предков в России, вообще, довольно известная история. Екатерина II в 1764 году издала указ, сообщила во всю Европу, в основном в Германию о своём намерении пригласить крестьян из Германии, говоря современным языком, на постоянное место жительства, предоставив им неограниченное количество земли, чтобы заселить те необъятные просторы в России, которые ещё не были освоены.

Моим предкам как раз достались просторы Нижнего Поволжья, которые граничили с современной территорией Калмыкии. Именно мои предки приехали из земли Баден-Вюртемберг, хотя были переселенцы и из других земель. Я являюсь членом лютеранской общины в Санкт-Петербурге, это наша любимая церковь Петра и Павла на Невском проспекте, где я уже 23 года являюсь членом общины.

Я на данный момент являюсь самой старшей по возрасту, потому что с июня месяца (2019 года) мне уже пошёл 95-й год, и это, как говорится, не шутка. И за эти годы, конечно, накопилась масса впечатлений жизненных. Можно сказать, весь XX век с раннего детства прошёл на моих глазах и очень сильно коснулся меня и моей семьи.

Мои родители — это Константин Георгиевич Шульмейстер и моя мама, Ольга Георгиевна, урождённая Ваккер, были уже пятым поколением тех переселенцев, что сюда переехали. С их жизни, с тех пор и хочу начать свой рассказ.

Первые три поколения — это была борьба за физическое выживание. Климатические условия Нижнего Поволжья экстремальны, и просто элементарно крестьяне не знали, что и когда сеять, потому что в Германии совершенно иной климат, условия, поэтому только трудолюбие, пылливость и стремление обязательно интегрироваться в жизнь на новой Родине привели к тому, что к началу четвёртого поколения уже началась нормальная жизнь. С тех пор они начали понимать, что нужно давать своим детям образование, соответствующее России, потому что будущее своих детей они связывали не только с крестьянским трудом. Способным детям нужно было более широкую дорогу в жизнь открыть. Для этого надо было изучать русский язык активно и поступать учиться в учебные заведения. Таким образом, мой дедушка из четвёртого поколения, Георгий Михайлович Шульмейстер, окончил в Саратове Коммерческое училище. По тем временам это было очень приличное образование, сравнимое с нынешним Финансово-экономическим институтом. А его старший сын, мой отец, окончил Русскую гимназию в Камышине и поступил в Москве в Петровско-Разумовскую академию. Поэтому мы с сестрой, а у меня есть ещё сестра, на пару лет старше, жили в семье, где вопрос «Что делать после окончания школы?» даже не стоял. Надо было получать образование, потому что с образованием был связан образ жизни, у нас очень культивировалась немецкая культура в семье, с мамой мы до последнего разговаривали только на немецком, у нас в семье была шикарная немецкая библиотека. Отец в годы гражданской войны часто бывал в командировках в Петербурге. Когда в Петрограде начался голод, в 1919 году, продавали всё, без чего можно было обойтись, и можно было купить

любые книги, потрясающие издания, Лейпцигское издание, которое в Европе считалось одним из самых уважаемых и качественных, с издательством в Лейпциге. Отец собрал всю немецкую классику на готическом шрифте, и мы в детстве прочли всю немецкую литературу, и это помогло нам в будущем, в годы, когда был запрещён в обиходе немецкий язык полностью, сохранить немецкий язык. Поэтому вопрос об образовании не дебатировался, не обсуждался, это само собой разумеющееся, что каждый человек нашего социального круга, каждый ребёнок должен получить специальность, работать.

Моя старшая сестра окончила школу в 1940 году. Она поступила в Театральный институт в Москве, была абсолютный гуманитарий по своим природным данным, поэтому у неё это очень хорошо получилось, и она проработала в Театре русской драмы всю свою последующую творческую жизнь. Ну а со мной получилась задержка с образованием, потому что в 1938 году, в разгар репрессий — как все сейчас знают, начало 30-х годов это начало Красного террора, — и в эту волну попал мой отец и в 1938 году был арестован, приговорён к расстрелу. Обычно расстреливали в эту же ночь после оглашения приговора или максимум на следующий день. Отец ожидал расстрела в течение двух месяцев, в смертной камере. У меня, кстати, есть плёнка его интервью, как он провёл два месяца в этой смертной камере. Факт в том, что приговор ему заменили двадцатью годами в трудовом лагере, и он провёл эти двадцать лет, как говорят заключённые, от звонка до звонка на Колыме.

Значит, отца нет, мы с мамой одни, начинается война и появляется 28 августа 1941 года указ, что все российские немцы являются потенциально опасными элементами. Что мы подлежим изоляции, чем дальше, тем лучше, и таким образом кого-то успели выслать в течение 48 часов, у нас было несколько дней — это же какой нужно железнодорожный состав иметь под рукой, чтобы 400 тысяч населения немецкой Волжской республики загрузить в телячьи вагоны и увезти в ссылку?!

Итак, я окончила дома 8 классов, была всегда отличницей, и когда где-то промелькивала «четвёрка», это было событием, которое трудно представить. Поэтому когда в начале октября нас привезли

в степь казахскую, а наша доля была Казахстан, где стояло несколько юрт казахских, конечно, ни о какой школе речи не было. Нас просто выгрузили с машин, на которых привезли со станции, и вот каждая казахская юрта должна была принять людей. Степь, школы нет, значит, и речи нет ни о чём, тут надо было думать, как выжить.

Это было 2 октября, когда мы туда прибыли, там зима лежала уже плотно, по-настоящему. Мы все в городской одежде, в туфельках, в беретиках — городские жители, а казахи в меховых шубах, ма-лахайках — шапки такие меховые. И мы смотрели на них и думали, а как же мы тут выживем в туфельках и беретиках?

Страна с первого дня войны жила на карточках, были хлебные карточки. Во всей стране в продаже хлеба не было, только по карточкам. Если у тебя нет карточки, ты не можешь никак достать кусок хлеба. Ну и мы думали, что нас сюда привезли, депортировали, и нам в первую очередь дадут карточки хлебные, чтобы мы могли где-то кусок хлеба получить. Казахи показали нам, где живёт председатель. Казахи русского не знали, но слово «председатель» — это уже, так сказать, слово интернациональное.

И вот мы пошли в ту юрту, где жил якобы председатель, и объяснили, что карточки на хлеб надо. И вот он показал на нас пальцем и сказал: «Вас должен Гитлер кормить, у нас хлеба для вас нет» — он немного по-русски говорил. Всё ясно. С этого дня мы поняли, что мы вне закона, собирали из-под снега колоски. Через некоторое время наступил следующий страшный этап — собрали всех мужчин, мальчиков с 15 лет в трудовую армию. Трудовая армия — это как заключённые были в исправительно-трудовых лагерях, а это просто трудовые лагеря — на шахтах, в тайге и так далее. В один день всех мужчин увезли, остались женщины, дети, старики. Через некоторое время забрали женщин, девочек с 16–17 лет. Вот мне исполнилось только 17, и меня тоже забрали в трудовую армию, и мы попали на Северный Урал, в город Березняки. Не в сам город, конечно, а в тайгу, где мы работали на лесоповале.

Женщинам было очень тяжело — 12-часовой рабочий день, одноразовое питание в сутки — и мы, конечно, очень быстро сдавали позиции физически. И вот прошёл год, меня уже перевели в бригаду слабосильных, была такая бригада, то есть тут уже ни нормы,

ничего. Даже если бы приставили штык к груди, а там деревья в три обхвата, а мы должны были их вручную пилить, вот если бы сказали «Заколем, убьём, если сейчас не сделаешь», я бы не сделала, потому что физические ресурсы совсем иссякли.

1944 год начался, и пошёл слух (а нас в 1942-м забрали), что таких полных доходят, какой я была — крестьянкам взрослым это было попривычнее, они посильнее были физически, я была городская девочка, я умела на рояле играть и балетом заниматься, а вот валить деревья в тайге ещё не научилась к тому времени — отправят домой. Получилось так, что в апреле 1944 года собрали первую группу абсолютно уже непригодных ни к чему женщин для отправки — ну, не домой, дома у нас не было — для отправки туда, откуда она была взята, в данном случае в Казахстан. И вот в эту группу попала я, потому что от меня уже пользы государству никакой не было. Мама к этому времени была в этом населённом пункте казахском, и там их в соседний пункт передвинули, и там была средняя школа. Неполная, так как не было детей для полной школы, там семилетка была. И вот, когда меня привезли туда обратно, это тоже недели три, я ехала с женщинами больными, старыми. Мама еле жива была, милостыню просила, что ещё она могла?

«Вот пойдй, узнай», — а мне надо, чтобы 9-й класс был. Я говорю: «Мама, может, я бы экстерном окончила 9-й класс?» Я окончила 8-й класс в 41-м, а сейчас был 44-й, я пропустила три года. Мои одноклассники в Саратове, которых не депортировали, уже школу окончили. Ну и я в страшных галошах, страшно худая, вся в нарывах от голода, он у нас так проявлялся, пришла. Это был уже июнь месяц, конец учебного года, семилетка, 8-й класс на следующий год должен был быть, а мне девятый надо. И вот я к директору, а он был человек пожилой, ну, может, не пожилой, лет 40, но мне так казалось в 17 лет. Я ему говорю: «Я из трудармии пришла, — показала табель за 8-й класс, — можно как-то сделать, чтобы я экстерном 9-й класс кончила?» Он ответил: «Девочка, у нас экстерном не полагается, ты должна пойти в 9-й класс». Я спрашиваю: «А у вас первого сентября будет 9-й класс?» Он говорит: «Нет, нам бы самое большее на 8-й класс несколько человек набрать». Я говорю: «А может, всё-таки экстерном можно?» Он говорит: «А откуда ты знаешь, что

такое экстерн?» Он тоже думал, что я простая деревенская девочка. Я говорю, что у папы в институте некоторые студенты экстерном оканчивали. В общем, он начал меня расспрашивать, видит, что девочка что-то понимает. Говорит: «А ты разве знаешь эти предметы, чтобы экстерном сдать?» Я говорю, что знаю, и за 9-й, и за 10-й класс, потому что когда нас отправляли в ссылку, я взяла с собой учебники старшей сестры за 9-й и 10-й классы, и я до трудармии несколько месяцев каждый день что-то учила по какому-то предмету. Он говорит: «Ну не знаю, не знаю». Звали директора Ошар Абрамович Лившиц, прошло 80 лет, и я этого человека вспоминаю, потому что он мне спас жизнь. И кроме него был высокий, худой до ужаса учитель, его звали Григорий Семёнович Коган. Вот такое замечательное сочетание. И вот Ошар Абрамович к нему обращается, и я поняла, что он учитель математики, молодой совсем. Видно, ему стало меня жалко, он говорит: «Ну что, Григорий Семёнович, как вы думаете?» Он говорит: «А что думать, вот задачник Рыбкина по геометрии, я сейчас открою на любой странице, пальцем ткну, и если она эту задачу решит, будем дальше с ней разговаривать». Задачник Рыбкина за 9–10-й классы, я обрадовалась. И он в шутку открывает, я спрашиваю: «А на доске можно?» — раз-раз и решила задачу по стереометрии. «А ну ещё раз, — он закрыл глаза так комично, открывает, тычет пальцем: — и что тут?» В шар вписан усечённый конус, как сейчас помню. «Это тебе не по зубам», — говорит. Я спрашиваю: «А можно у доски?» И вот, когда вторую решила, он говорит: «А ты что, и физику знаешь?» Я говорю, что учила весь курс 9-го класса. Короче говоря, эти два человека задумались, Ошар Абрамович говорит ему: «Григорий Семёнович, а может, мы её по протоколу проведём как заочницу?..» В общем, что-то там они поговорили и сказали мне: «Только сядь и сочинение напиши», — говорят. Я спрашиваю, по какой теме. Физика, алгебра, геометрия, тригонометрия — это они уже поняли, что я знаю, но надо ещё и литературу. Тема была «Социалистический реализм в произведениях Горького». Ещё сказали, мол, пиши покороче, поменьше. В общем, окончила я школу как заочница и получила аттестат зрелости.

Всё-таки есть на свете не только плохие люди. Я жила в окружении хороших людей всю свою короткую жизнь. И я убедилась, что

даже в таких страшных, экстремальных условиях, где нам отказали даже в маленькой пайке хлеба, адресовали нас Гитлеру, что он нас должен накормить, даже в таких условиях есть прекрасные люди. Что я им была? Оборванная, больная девочка, но со стремлением к учёбе. Когда-нибудь нас же отпустят, нас же не навечно сюда при-слали. Я ещё не знала, что нам предстоит.

Ну вот, теперь Ошар Абрамович спрашивает, что же я делать буду. Это было не в тот же день, аттестат надо было напечатать, проставить подписи. И вот он спрашивает: «Что теперь делать будешь?» А я говорю: «Ну, в колхоз пойду работать». Он говорит: «А знаешь, я тебя возьму учительницей начальных классов, пойдёшь?» Я говорю, что я же не знаю, как учительницей работать. Он говорит: «Вот у меня во втором классе нет учителя, на первый есть, а на второй нет». И так я стала учительницей начальных классов и с 1 сентября начала работать, вообще не зная, как это делать, и мне так понравилось. В моей трудовой книжке до сих пор стоит первая запись (могу показать!): «23 августа 1945 г. — назначить учителем младших классов...»

И так я проработала этот год. И я решила, что я на своём месте. Год закончился, я ещё год там проработала. Был 1946 год. Война кончилась. И люди говорят, что можно просто пойти, хоть станция далеко, что люди просто подходят и покупают билеты. Я говорю маме, наивно, что, может, и я могу. У меня сестра уже работала в Таганроге, в театре Чехова, поскольку она вышла замуж до войны за немца, таких женщин в ссылку не отправляли. Так что её миновала эта страшная участь.

Ну вот, пошли мы с девочками моего возраста и видим: люди подходят к кассе, покупают билет. И мы с мамой решили, мы купим билет, я всё-таки какие-то деньги получала. Ну сколько меня продержат на такой работе без образования? После тяжёлых военных годов скажут, что я больше не нужна.

Купила билет без места, ехала 5 дней на третьей багажной полке и приехала к сестре. А в Таганроге был только учительский институт, педагогического не было. Мы решили, что я окончу учительский, два года. Я понимаю, что у меня положение птичье, как говорится. Ну и вот я взяла свой аттестат и пошла в институт 30 августа.

Конец вступительных экзаменов, конец всего, всё уже укомплектовано. И вот я пошла к ректору, и вот тут вторая встреча, и если бы я могла молиться, я бы молилась всю жизнь за этого человека. Звали его Александр Иванович Можаяев — член партии, воевавший, конечно, с ранениями. Но человечный человек! Я уже получше выглядела, чем когда меня Ошар Абрамович спас, можно сказать, от гибели. Он говорит: «Ну у нас всё уже закончилось, но покажите ваш аттестат». А там одни пятёрки. Он говорит: «У нас экзамены кончились, но на физико-математический факультет у нас всегда места есть, там всегда недобор, я вас принимаю». И вот этот человек, не спрашивая, кто я, что я, откуда я, с фамилией Шулмейстер — с такой фамилией тогда надо было спрятаться, чтобы тебя не видели и не слышали. Так это было позорно, такую фамилию носить.

И так я стала студенткой. Первый семестр на «пять» сдала, повышенную стипендию получила. Отличница. Думаю: сейчас второй курс окончу, поеду в Ленинград, в университет и начну с первого курса. То есть я забыла, где вообще нахожусь. Вот второй курс, 23 мая закончились курсовые экзамены, оставались теперь государственные экзамены, 4 экзамена. 23-го прибежала я домой. Тук-тук в дверь, а там стоят два в штатском и один милиционер. «Такие-то здесь живут?» — «Здесь». — «Вы арестованы!» Арестованы, одевайтесь, собирайтесь. Арестовали, отвезли в тюрьму, предъявили обвинение — побег с места поселения. Оказывается, мы были навечно сосланы, но мы этого не знали. Законы где-то писались, но ни одного закона, по которым мы жили, мы не читали. Нам вначале говорили, мол, ссылают только на время войны, что война через пару месяцев кончится. А оказалось, что сослали навечно. Факт есть, а какое следствие? Следствия никакого не надо. Или 25 лет лагерей, или возвращение на место поселения, это в лучшем случае. Ну всё, значит, нас этапом, а госэкзамены и два курса отличницей — прахом.

Сначала нас привезли в здание НКВД. Сестра была уже к этому моменту года четыре ведущей актрисой в Таганроге, большим авторитетом пользовалась, муж её был актёром в этом же театре. Ну и, конечно, они кинулись помогать любой ценой. А она знала мой настрой и логику вещей. Мне же только госэкзамены сдать. Меня отправьте хоть на Северный полюс, но с дипломом. Чтобы я,

математик и физик, везде нашла работу. И вот как раз перед этим они меня арестовывают. Всей правдой и неправдой какую-то отсрочку просили. Обращались в самые верха и добились, чтобы нас выпустили с подпиской о невыезде, пока якобы идёт следствие. Какое там следствие, всем было всё ясно, мы сбежали, мы не отказываемся. Но мне нужно было сдать экзамены. Но пока эта волокита длилась, и мы сидели в тюрьме, в конце июня я знала, что 30 июня выпускной вечер с вручением дипломов, но перед этим надо 4 экзамена сдать.

И всё-таки числа 27 июня результаты хлопот сестры и её мужа выразились в том, что нас вызвали в прокуратуру. Подписка о невыезде до окончания расследования — такая была формулировка. Главное, что мы можем выйти за ворота тюрьмы. Конечно, мы бы никуда не уехали. Я кое-как умылась после камеры и помчалась в институт. К Александру Ивановичу Можаяеву. И вот его человечность. Как он обрадовался, когда меня увидел! «Рита!» — меня там звали Ритой, дома и в институте. «Риточка, как я рад! Как ты?» Я говорю: «Александр Иванович, у меня, возможно, время, только чтобы сдать экзамен». А экзамены уже сданы, 27 июня. Через 2 дня вручение дипломов, секретари уже сидят, заполняют дипломы. Я сказала, что могу за день сдать все госэкзамены. «Я соберу всю экзаменационную комиссию, я попробую». В государственную экзаменационную комиссию обычно приглашают преподавателей других вузов, чтобы никаких связей, совершенно чужие люди все. Значит, нужно обзвонить всех этих людей, объяснить, что появилась вот девочка. Он всегда говорил: «Рита — это гордость нашего института, нашего выпуска». Нужно было объяснить, чтобы они пришли в определённый день, завтра. И вот они за одним столом — физик, математик, методист и зав. кафедрой из какого-то института по общественным наукам. Надо же их согласие получить. И был председатель комиссии, такой профессор Рабинович. И опять же мне везёт, какая человечность была проявлена начиная с 1944 года и Ошара Абрамовича Лившица, что они для меня сделали. А тогда телефонов у всех не было, Александр Иванович говорит — забеги вечером, я скажу ответ. Прибежала, говорит — завтра утром в 9 или 10. Я захожу и вижу — всё, он добился, хотя кто я ему? Да никто. Одна из сотен

студентов, которых он выпускал за годы работы. Но этот человек, провоевавший, понявший, что такое война, и многое другое. И вот я тяну билет. Математика. Без всякой подготовки, конечно, потому что я всегда готова была, отвечаю. Все 4 предмета. И Александр Иванович здесь, он не мог оставить такое мероприятие без своего наблюдения. Попросили меня выйти, обсуждают оценки. Через некоторое время захожу, объявляют: математика 5, физика 5, методика преподавания 5, общественные науки 4. Председатель комиссии, Рабинович, оказался профессором медицинского института, хирургом, и он оказался близко знаком с моей сестрой, пару раз её оперировал и потом ей рассказал, почему 4, почему не пятёрка. Эта преподавательница, Мария Игнатьевна Шахматова, вот я помню, как звали моих спасителей. Она все годы моей учёбы, зная меня, а она вела у нас семинары, восторгалась моими знаниями и на историческом факультете всегда приводила в пример студентам. «Вот есть студентка с физмата, вот у неё поучитесь, как надо по историческому материализму отвечать». Я была для неё примером для подражания. И тут Александр Иванович должен сказать ей, что я немка, а она думала, что я еврейка. А тут я оказалась немкой, какой ужас! И это она узнала, уже сидя здесь, дав согласие, иначе бы она не дала согласие. А это ведь состав, утверждённый правительством, и без неё ничего бы не получилось. И вот она узнала и говорит: «Поставлю не больше тройки, и то в угоду вам». И тут Рабинович, а он ведь, как говорится, не дурачок, он ей прочитал такую лекцию по историческому материализму, по национальной политике Сталина (Сталин же отвечал за национальную политику), что ей пришлось сдать. «Ну ладно, четвёрка пусть будет». И вот у меня одна «четвёрка».

Вот так я окончила институт и на следующий день танцевала на выпускном вечере, с дипломом в кармане, самая счастливая девочка на свете. А через пару дней к нам снова пришли — двое в штатском, один милиционер, — уже окончательно арестовали и тут же отвезли в ростовскую тюрьму. Уже не доверяли таганрогской тюрьме, думали, что сестра снова вызволит из тюрьмы. Но у меня был диплом. После выпускного мы оставили диплом сестре, мы же знали, что мы под следствием, так что в любой момент можем быть вынуждены последовать. И действительно, сразу в ростовскую тюрьму

и этапом отправлены, как объявлено нам было, на место поселения. То есть не в лагерь в Воркуту или Новокузнецк, а всё-таки на место поселения. Навечно.

В феврале 1950 года нас выгрузили в городе Кокчетаве. Когда-то это был просто казахский посёлок, а за годы советской власти он вырос в городок и стал называться Кокчетав, а по-казахски Кокшетау. И вот нас выпустили, в чём мы были. Куда идти? Первым делом в комендатуру, зарегистрироваться. Нам было объявлено, в какой день мы должны ходить на отметку. Каждый месяц, в определённый день приходиться и отмечаться, что мы здесь. До конца жизни. И, кроме того, мы должны были подписать, что нам известно, что мы имеем право двигаться в радиусе 25 километров вокруг этого пункта, и что мы здесь навечно. Это Северный Казахстан, февраль, это -55 , -50 градусов. Во время этапа мы познакомимся с греческой семьёй — бабушка, взрослая дочка и маленький сыночек, — их выпустили немного раньше, и они сняли угол у одной солдатской вдовы, очень доброй женщины, и она согласилась принять и нас в курятнике. Он был утеплённый, соломы сколько угодно. И вот мы с мамой поселились в этом курятнике. А сестра наша, как мы договорились, до востребования, заранее, через греков отправила копию моего диплома. И эта Мария, гречанка, действительно получила на почте мою копию. И эта вдова, бедная, но добрая, дала валенки своего убитого мужа, укутала в какую-то шаль, и мы с ней пошли в ГорОНО, устраивать меня на работу. Для простых деревенских людей учитель в те времена — это авторитет.

Мы пришли в ГорОНО, показали диплом, и заведующий увидел: «Какая радость! Учебный год кончается, а у нас весь год не было математика, уроки математики не даются». А тут диплом. Сразу две ставки. Я говорю, что не могу так много. Мужская школа. И вот 20 февраля нас выпустили из тюрьмы, и уже 22-го я давала уроки в этой школе.

Вот так, благодаря таким людям, как Ошар Абрамович Лившиц, Григорий Семёнович Коган, Александр Иванович Можаяев, гречанки бедные и вдова солдатская, которая мне не пожалела охапку соломы, я стала работать учителем. Таким образом я заработала свой диплом.

Главное счастье, конечно, что папа выдержал 20 лет Колымы и вернулся к нам в Кокчетав после смерти Сталина. Но только в 1956 году нам объявили, что мы свободны. Мы думали, что будем свободны сразу, как умрёт Сталин. Ничего подобного, ещё три года мы на отметку ходили в комендатуру. Три года ещё не имели права. И в январе 1956 года нам объявили, что мы можем ехать куда угодно, кроме того места, откуда нас депортировали. Там не пропишут, не примут на работу, даже не пытайтесь.

Такова история получения мной высшего образования. Сказка «1001 ночь».

P.S. После отмены комендатуры в январе 1956 года я сразу же подала свои документы на заочное отделение Челябинского педагогического института, на третий курс математического факультета, который и окончила в 1959 году. Таким образом я завершила своё высшее педагогическое образование.

2019 г.

ИНТЕРВЬЮ С М. К. ШУЛЬМЕЙСТЕР, ЗАПИСАННОЕ ЖЕНЕЙ КУЛАКОВОЙ (НИЦ «МЕМОРИАЛ») В 2016 ГОДУ

МК: Женя, ну, вы знаете, что в 1764 году Екатерина Великая издала указ — призыв к немцам Германии, чтобы они приехали в Россию. До этого немцы приезжали в Россию, уже начиная с Ивана Грозного. При нём же была построена Немецкая слобода — часть Москвы им дали для заселения — она существовала до самой войны. Так и называлась «Немецкая слобода». Поэтому немцы до Екатерининского приглашения уже несколько веков здесь были. Это были мастеровые, лекари, в основном мастеровые. Это всё одиночные были, индивидуальные: решил человек уехать в Россию и уехал. А Екатерина решила в большом масштабе всё это организовать. А в России были места, например, Нижнее Поволжье — от Астрахани до Саратова и даже чуть севернее Саратова, где Волга впадает в Каспийское море. Это вы знаете? Вот эти земли. Во-первых, там безумно экстремальный климат. Зимой минус 30–35, летом плюс 42–45, и если к вечеру падает температура до плюс 38 — можно немножечко вздохнуть. И, кроме того, весной из Средней Азии дует суховей — вот так устроена, так сказать, эта часть планеты. Вот так, как в Израиле, вы знаете, есть такие ветры, называются хамсин? Должно быть каждый год обязательно, я не помню сейчас точно, 42 или 52 хамсина. Хамсин — это на целый день. И это с величайшей древности. Так и там дуют эти суховеи весной. Вот стоило что-то там посеять, взошло зелёнькое, красивенькое, радуется человечество — суховей задул, и в течение нескольких часов... А что такое суховей? Это песчаная буря. Через несколько часов эти посевы закрыты намертво. Всё, кончилось. Недаром выражение появилось — «голодающие Поволжья». Откуда оно взялось? Нет же такого выражения — голодающий, скажем, Москвы или ещё чего-то — а именно голодающий

Поволжья. Издревле. Потому что вот в этой местности, от Каспийского моря, то есть от дельты Волги до Саратова, никто не мог поселиться. То есть люди пытались селиться, а потом наступал голод, и люди уходили на север Воронежской области, Пензенской области, или в Сибирь, на Алтай, или ещё куда-то уходили.

И вот Екатерина решила немцев — терпеливых, работающих — поселить в этом месте. И, кроме того, Астраханское ханство ещё функционировало. В Казани-то Иван Грозный разбил татар уже полностью. А вот Астраханское ханство ещё существовало. Русские поселения пытались там создать — строили деревушки, начинали там хозяйничать, сеять, пахать, а татары на своих маленьких лошадках ночью сжигали селения, мужчин убивали, женщин, детей в плен уводили, и эти земли лежали веками брошенные. И вот туда она пригласила немцев — 100 лет без налогов, 100 лет без воинской обязанности для мужчин, за счёт государства дорога туда из Германии, сразу огромные средства для того, чтобы выстроить себе жильё — то есть масса привлекательных льгот. А ведь в Германии вечно был недостаток земли. Там прекрасные горы, там Альпы, леса, а хлебушек-то надо сеять, а не было подходящей земли. Только что закончилась Семилетняя война, а до этого была Тридцатилетняя война, которая разорила особенно западную часть Германии — прирейнские и баден-вюртембергские земли, которые граничат с Францией во всяком случае... Настолько разорена была Германия, особенно после Семилетней войны, что дороги были полны бродяг, нищих, инвалидов, разбойников. Фридрих Великий, конечно, преступник был. И когда вышел этот указ Екатерины, приглашение с такими льготами — то очень многие откликнулись. И в 1765 году, на следующий год после издания этого указа и опубликования его в Германии, сюда сотни-сотни тысяч немцев приехали. В основном их поселили на Волге, и надо сказать, что Екатерина и её потомки все обещания сдержали. 100 лет переселенцы не платили никаких налогов, 100 лет не надо было мужчинам идти в армию, это тоже большое значение. И действительно, они получили средства, чтобы выстроить школы, церковь первым делом строили, ну а потом уже собственные жилища.

И вот они начали свою бедственную жизнь на этих вот землях, где никто не мог селиться. Но обратной дороги не было — сюда их

привезли, а как они обратно уедут? Они обратной дороги не знают, и средств на эту дорогу нет. Поэтому голодали. В этой части Поволжья свирепствовала малярия испокон века, болезнь, которой они не знали и от которой умирали, потому что никаких средств у них не было против этой болезни. Я ещё в детстве помню малярию тоже, как она трепала людей, но тут уже был хинин. Страшная вещь этот хинин, но тем не менее всё-таки она спасала, эта страшная смесь горькая. Ну вот, и так получилось, что есть такая поговорка «Die erste Generation den Tod (я переведу), die zweite Generation (Generation — это поколение) die Not. Und die dritte Generation das Brot». То есть первое поколение переселенцев — это была смерть (der Tod), умирали дети, вымирали страшно. Второе поколение — была нужда. И только третье поколение дождалось хлеба, потому что надо было научиться его выращивать в этих условиях — жара страшная, иногда по два года вообще ни капли дождя не было и сухостей. Например, голод 1922 года в России, может, вы читали когда-нибудь, произошёл — это уже моя мама молодая была, она пережила, у неё старший мальчик, наш братик старший первый, умер в 2,5 годика. Вы представляете, какой голод? Ну и вот, пробовали совершенно новые семена, к которым они не привыкли, и совершенно другую обработку почвы, которой они не знали. Но на этом учились, и к четвёртому поколению уже появились зажиточные люди — люди, которые старались это всё изучить, которые творчески подходили к этому.

И к таким зажиточным людям, крестьянам, относилась семья, из которой моя бабушка происходит. Райсих их фамилия. Они принадлежали к пяти самым богатым семьям в Поволжье... В Штутгарте издаётся журнал, называется «Heimat Buch». Heimat — это Родина, Buch — книга. Это стали издавать наши, вот когда уже эмиграцию разрешили — когда эмиграцию разрешили нашим российским немцам, то, конечно, в основном все туда уехали. Вот. И они стали издавать вот этот журнал. Он за два года каждый выпуск. Мне несколько этих журналов за несколько лет подарили там, в Германии, и вот я здесь нашла Мюльберг... А вот когда они сюда на Волгу приехали, наши предки, то они давали этим поселениям, которые они основывали — сами — названия, произвольно или

в зависимости от каких-то обстоятельств. Вот мои предки Райсихи увидели эти просторы бескрайние волжские — там, на Волге, ведь так, правый берег очень высокий, но это географически обосновывается, если река течёт с севера на юг, то правый берег всегда высокий, а левый берег — долина ровная. И вот они увидели, что вот эти водопады, которые с гор падали, это бесценный кладёзь энергии, и они стали строить мельницы водяные, и поэтому этому маленькому селу и дали название Мюльберг, то есть Мельничная гора. На старой карте Республики немцев Поволжья (у меня есть копия старой карты) оно так и называется, называлось. Ну а в 1941 году всё переименовали. Оно теперь называется Щербаковка.

И я, читая эту книгу, обнаружила, что перечисляются четыре семьи и Йохан Георг Райсих. Это, значит, я шестое поколение, ну а он был четвёртым поколением. Это был отец [по другим данным — дед] моей бабушки. Вот эти пять семей — это были самые богатые семьи, вот Йохан Георг Райсих, вот я подчеркнула здесь. Это мой, значит, прапрадедушка. Они были действительно очень работающие, большие семьи. И вот отсюда, так сказать, и рассказ. До сих пор под Камышином, город такой есть на Волге, сохранились развалины их мельниц и их жилых домов. Потому что всё в революцию там было разрушено, а в 1941 году ещё добавили разрушения, из, так сказать, патриотических соображений. Надо же было показать свою ненависть к немцам и отыграться хотя бы на этих вот российских немцах. Вот оттуда, значит, мы примерно и считаем.

Моя бабушка очень рано овдовела — вот это она, Доротея Райсих урождённая. Вышла она замуж за Георга Ваккера, который от несчастного случая, к сожалению, очень рано погиб. А вот это её дети, кроме вот этого. Это муж, вот эта старшая дочь вышла замуж, это их первенец. А вот это дядя Костя, это моя мама, Ольга, это дядя Фридрих, это тётя Эмма, это дядя Саша, это тётя Маруся, это дядя Коля. В Тарту был немецкий университет, слышали, может быть. Вот дядя Фридрих и дядя Саша учились в этом Тартуском университете. Дядя Саша врач, он в Первую мировую ещё на фронте врачом был, а дядя Фридрих пастором был. Но он расстрелян, конечно, здесь, в Ленинграде... Они жили в Ленинграде... Вот эта фотография, «Санкт Петри» написано, видите?

ЖК: Да. Вижу-вижу.

МК: Да, это в 1908 году фотография сделана, потому что вот этот Вова, мой старший двоюродный братик, он рождения 1908 года. Бабушка со своими детьми жила в Петербурге, эти рядом в Тарту учились, так что было удобно. Тут тётя Эмма вышла замуж в Петербурге за очень богатого. Он инженер был, путеец. Никакой не предприниматель — окончил Горный институт в Петербурге, и вот они здесь. Так что бабушке было удобно в Петербурге жить: эти мальчики рядом, ну а эти ещё были малышами. А вот в 1941 году дядю Фридриха — вот это он со своими дочерьми и бабушка опять — и тётю Клару, его жену, расстреляли. Документы у меня, я всё получила. Сначала приходили документы на запросы, что там от воспаления лёгких, от сердечной недостаточности умер. А потом, наконец, уже мартирологи появились. 6 июля 1941 года расстрелян здесь, в Ленинграде. И тётю Клару расстреляли, его жену, 26 сентября тоже 1941 года. А девочек, вот это четыре их девочки, это дядя Саша вот этот к ним присоединился — видно, был как раз в гостях, когда они эту фотографию сделали... Это здесь, в Ленинграде тоже всё было. А девочек четырёх — всех врозь в Сибирь, в разные точки, и все они сгинули. Вот Изольде было семнадцать лет, когда война началась. Ну а старшей Зенте, может быть, было 19 или, сколько там, 20. Так что вся семья разорена была.

ЖК: И следы их потерялись и так и не нашлись?

МК: Нет, ну я получила бумаги, и мартиролог официально издан, я его теперь отдала родственникам там, тоже они интересовались. Там официально объявлено, написано, какого числа и где расстреляны.

ЖК: Да-да-да. Я имею в виду, что девочки не нашлись...

МК: Нет. Вот это, значит, начало. Это то, что я помню. Вот здесь, в этом журнале я вычитала и посчитала, что это дедушка моей бабушки, который уже слыл первым богатым человеком. И вот эти немцы-колонисты, достигнув благосостояния, стали учить своих детей в Москве и в Петербурге. Вот мой папа, он тоже с Волги, но это другая ветвь. Моя-то фамилия Шульмейстер. Шульмайстер по-настоящему. «Еі» читается как «ай». Вот папа мой уже. Он рождения уже 1895. Он в Академии в Москве учился. Окончил Академию

московскую. Дядя Фридрих, дядя Саша — университет в Тарту. Так что уже старые люди, немцы, понимали, что раз они в этой стране обосновались, и в общем всё хорошо идёт — надо теперь думать о том, чтобы войти в общество российское, это теперь называется интегрироваться. Для этого нужно язык знать и образование получить. Поэтому все-все дети бабушкины, это уже поколение моих родителей, все получили высшее образование.

ЖК: И дочери тоже получили?

МК: Ну, вот мама очень хотела учиться, но в то время ещё не принимали. Поэтому она могла, поскольку она гимназию окончила и прекрасно владела немецким и французским, — в то время гимназистки имели право работать учительницами. Что она и делала. А вот поступать в учебные заведения в это время ещё нельзя было. Это пришло чуть-чуть позже. А мальчики все получили образование.

ЖК: А как мамина семья оказалась в Ленинграде? Ну, в Петербурге?

МК: Когда вот эти двое, старшие, дядя Фридрих и дядя Саша, решили учиться в Тарту в университете, а бабушка овдовела, ей 34 года было. Вот этой вот Марусе, младшей, было три недельки, когда дедушка от несчастного случая погиб. И вот ей 34 года, семь человек детей, и она беспомощная совершенно. И тогда они решили переехать в Петербург, тем более вот тётя Эмма очень рано вышла замуж за богатого человека, и решили, что им всем вместе будет легче. Тарту рядом, так что эти ребята могут навещать. А потом они, бабушка с этими тремя младшими, даже пару лет жили в Тарту. Чтобы вместе, из одного, как говорится, котла... Она говорит — сварю супа целую кастрюлю и всех накормлю. Вот, а в 1919-м или даже, по-моему, когда война империалистическая началась...

ЖК: В 1914-м.

МК: Да. Или когда уже революция произошла. Ну, это не имеет значения, там разница может в одном-двух годах. В Петрограде голод был, потому что сначала война мировая четыре года, потом революция, потом гражданская война. Разруха полная. И она тогда забрала вот этих [детей] и маму — и уехала на Волгу опять, где они уже много лет не были. В город около Саратова — такой

городок уездный был, Камышин. Хороший уездный городок. Ну, там какие-то оставались братья и сёстры бабушкины. Всё-таки как-то немножко было веселее, не так грустно. А потом, конечно, началось — в 1930 году арестовали дядю... Дядя Фридрих здесь в Ленинграде работал пастором. В 1930 году его арестовали, но расстреляли не сразу, он в тюрьме был долго, потом его выпустили с правом жить на сотом километре. Вы такое выражение знаете? Вот для тех, кого арестовали, но не сразу расстреляли, или не сразу на Колыму отправили, и в Ленинград и в Москву не хочется пустить — придумали «сотый километр». Значит, он жил далеко, а семья была в Ленинграде с 1930 года по 1941-й. Одиннадцать лет он жил в Вишере. Это первый пункт, который за сотым километром. Значит, семья здесь, тётя Клара не работала, она болезненная была, девочки ещё школьницы были. Ну а в 1941-м их всех расстреляли, кто на сотом километре жил. Ну а мы — мама вышла замуж на Волге за моего папу, и оттуда, значит, нас уже... А папа из другой семьи... Папины предки тоже были крестьяне. Также приехали туда, на Волгу, и папа — второе поколение, которое уже училось. [Показывает фотографии.] Вот он окончил в Москве Академию, она называлась Петровско-Разумовская академия. Вот это 90-летие его, это он вот получил как раз профессора, ему 35 лет. Ну, это он на Колыме.

ЖК: Это лагерная фотография?

МК: Да. Там, конечно, никаких фотографий не делалось, но как-то эта образовалась фотография... Он потом её прислал нам. Это мы с ним, на его 100-летнем юбилее. А это он ровно за одну неделю до смерти. Он умер за письменным столом, за работой, на 101-м году жизни. У меня его приговор есть, я потом запросила. Он был приговорён к расстрелу как шпион, террорист, ещё кто? Шпионаж, терроризм, в общем, он на лекциях в институте (он был проректор по науке в Саратове) студентам не лекции по биологии читал, а готовил студентов к террористическим актам. Ну что это, представляете? В аудитории сидит, допустим, сотня студентов, это в университете саратовском, там старинные аудитории амфитеатром, и вот он, значит, учит их террористическим приёмам, этот молодой профессор, и никто ничего не... не доносит, и все готовятся. Ну, это чушь, конечно. Ну и получил он расстрел — я вам покажу потом

приговор — расстрел, и вот там обычно расстреливали в ту же ночь. Редко кто до следующего дня доживал... Суд длился пять минут. У меня кассета есть — он вообще всегда избегал всяких интервью, но к 100-летию несколько фильмов сделали о нём и массу интервью, он тут уже как-то стал немножко рассказывать. Обычно, поскольку расстрел шел конвейером, а смертных камер, по-видимому, не хватало, было вот так: суд длится 5 минут, выводят и сразу расстреливают. Папа сидит день, два, три в этой смертной камере на куче соломы, неделю, две, два месяца он ожидает расстрела, и он уже был на грани просто психического расстройства, он уже умолял, он уже начал молиться Богу (хотя, в общем-то, атеист был), что ради Бога, возьми меня скорей, я не могу больше. Потому что он же слышал в коридоре, что расстрелы идут. А оказывается (это мы узнали уже после его смерти, когда у нас уже по телевидению стали кое-какие такие детали рассказывать) — Ежова арестовали в этот момент и ликвидировали тут же. Это такое выражение НКВД: ликвидировать — это значит убить. А он же был всемогущий бог. Это был такой шок, что на некоторое время было приостановлено исполнение смертных приговоров. Папу судили 29 апреля, в день его рождения, кстати, в папин. Ему исполнилось тогда 44 года, в этот день. А за несколько дней до этого арестован был Ежов. И вот тут эти главы наших карательных органов, по-видимому, были в полной растерянности. Что будет, если уж их бога свергли, что с ними будет? Они уже, по-видимому, боялись теперь и расстрелять кого-то. И вот так папу и, может быть, ещё кого-то кроме него — он же не один там был — не расстреляли. А когда схлынул первый испуг, то пришло постановление прокуратуры о помиловании: «Заменить расстрел двадцатью годами Колымы». Это помилование, в том смысле, что жизнь оставили. И сразу на Колыму, откуда папа вернулся 7 октября 1957 года.

ЖК: Все 20 лет там отбыл?

МК: Ровно 20 лет. Ну, правда, последние три года он уже был реабилитирован как шпион и террорист, но он же немец, а мы к этому времени были навечно закреплены, поэтому он не мог оттуда уехать. Мы с мамой были в Северном Казахстане в ссылке, в районе, в городе Кокчетав — между Петропавловском и Карагандой этот

городок. Папа не мог к нам раньше приехать. И только в 1957 году нам разрешили двигаться, а так мы в диаметре 25 км закреплены были. Каждый из нас расписывался за это, и за побег с места поселения грозили 25 лет каторги. У меня, кстати, есть книга. Есть такой профессор Герман в Саратовском университете, он родился уже в ссылке. Он привёл очень подробно в этой книге все указы, по которым мы жили. Мы даже не все указы знали. И мы их узнавали только тогда, когда мы сталкивались в жизни с ними. Мы говорим, что мы же не знали этого. А был такой принцип: незнание закона не освобождает от наказания. Я не знала этого закона. Вот, например, закон, что на этот стул нельзя сесть, сядешь — смертная казнь, а я этого не знала и села. Ничего подобного. Незнание закона не есть... и по этому принципу многие расплатились жизнью. А вот у меня тоже очень хорошая книга, вот здесь есть мартиролог...

ЖК: Да-да, эту книгу я знаю.

МК: Дядя Фридрих и тётя Клара оба здесь записаны. Ну вот. И таким образом, значит, папа вернулся... Приехал к нам 7 октября 1957 года. Год мы ещё прожили там, муж мой ещё был жив. Муж мой был из той части Польши, которая отошла в 1939 году к России. Я не знаю, насколько вы историю знаете.

ЖК: Этот сюжет я знаю.

МК: В 1939 году Сталин и Гитлер заключили договор о ненападении. Каждый готовился к войне, выигрывали время, и в награду за это, как говорится, они между собой разделили Польшу. Прибалтику получил Сталин. Гитлер получил полное право хозяйничать в Европе. Там и Австрию оккупировал, и всё. А Польшу они просто поделили вертикальной линией. Мой муж работал уже врачом, в Львове, 25 лет ему было в этот момент. Ну а когда наши заняли свою долю Польши, то они что сделали... Теперь это уже исторический факт, хотя 50 лет отрицали это — расстреляли польских офицеров. Это вы знаете или нет?

ЖК: Да-да-да.

МК: А интеллигенцию, к которой он относился, — в Сибирь, в лагерь. И он пробыл там 8 лет как польский шпион. Он жил в Польше, как он может быть польским шпионом? Он свои 8 лет отсидел, а потом, поскольку семья его вся погибла — отец его успел

раньше умереть, мама и сестра в войну погибли, в первые же дни в бомбёжках — у него никого на свете не было, и у него много минусов было. Знаете, что такое минус? Это города, в которых нельзя жить. Это называлось 30 минусов, или там 20 минусов, или сколько. Вот у него было столько минусов, что ему только в каком-нибудь Конотопе можно было жить, и он приехал в этот несчастный Кокчетав в Северном Казахстане, работал врачом.

ЖК: А как его звали?

МК: Его фамилия была Горовиц. Врач, окончил медицинский факультет в Праге, в Пражском немецком университете имени Карла Великого. Он так и назывался «alte Deutsche Universität» — старый немецкий университет имени Карла Великого. Вот он его окончил в Чехословакии, вернулся домой в Львов, начал работать врачом, и тут начались эти советские репрессии. Ну, он умер рано, потому что сердце — конечно, если тебя в 25 лет из Пражского университета почти сразу в советскую тюрьму, он и русский язык-то не знал, он на немецком языке учился, а дома они по-польски говорили, потому что в Польше жили. Мы же тоже дома по-русски давно говорим. Моё поколение, наши родители, ещё в основном по-немецки дома в семьях говорили, а мы-то уже давным-давно по-русски говорим. Так что он умер ещё в Сибири, похоронен там.

ЖК: В Кокчетаве?

МК: Нет, в Красноярске. Мы год ещё после папиного возвращения прожили в Кокчетаве. Папа был реабилитирован, он поехал в Москву, получил все документы, профессорское удостоверение. Ну, в общем, полностью реабилитирован. Но он столько, как немец, имел минусов, которые официально не объявлялись, но мы знали о их существовании. Так что если ты приехал, скажем, в такой город, как Ростов или Екатеринбург, и пошёл там устраиваться на работу, тебе скажут: «Извините, — посмотрев паспорт, — у нас нет вакантных мест». Какая-нибудь Пенза, Орёл, или что-нибудь там, от силы, может быть, Омск, если бы они согласились взять. Поэтому мы понимали, и папа понимал, что нам на запад, в западную часть никак нельзя возвращаться. Нас нигде просто не примут, везде будут просто гнать. Ну и он год прожил, прожили мы там все вместе в Кокчетаве, он написал большую научную книгу. Он имел там возможность

на Колыме немного наукой заниматься. По достижениям... Первые годы он на общих работах был, на шахте. А потом всё-таки начальство поняло — там ведь всё было завозное, привозное, все продукты питания, и вот они в 1941 году... Кстати, когда война началась, всех немцев, которые в лагерях были, наших советских немцев, российских немцев, расстреляли — и он уже сидел в грузовике, их за лагерь немножко вывозили, пару шагов в тайгу, и расстреливали там. Папа несколько раз в жизни был приговорён к расстрелу. А тут начальник лагеря прибежал и говорит, кричит шофёру: «Остановись, остановись, остановись, остановись! Вот пусть этот слезет, пусть этот (называет его, папу), пусть слезает, пусть слезает!» В общем, этот начальник лагеря, он тоже сыграл... Ну, среди них тоже были изредка приличные люди, человеческие. Мало, конечно. Он решил — война, до войны навигация два месяца всегда только действовала — из Владивостока в бухту Нагаево, в Магадан. А теперь война. Значит, привоза никакого не будет, значит, все поголовно, в том числе и начальство, и охрана — охраны было почти столько же, сколько и заключённых — все с голоду умрут. И у него созрел план: а нельзя ли этого профессора, заключённого, использовать — может быть, он придумает, как что-нибудь там выращивать. И папа получил возможность заняться своей биологической работой... Он-то теоретик был, генетик, но в конце концов образования-то этого достаточно, чтобы что-то в землю сунуть и вырастить редиску, так.

И так началась совершенно новая жизнь у папы, новая деятельность, и он достиг того, что когда он оттуда уехал в 1957 году, всё, что можно в земле вырастить в этой вечной мерзлоте по особой методике, выращивается теперь. И он написал толстую книгу, по заданию, кстати, министерства. И вот за этот год, что он жил после возвращения с нами в Кокчетаве, он эту книгу написал, отвёз в Москву, её издали, и второе издание потом было. И папа говорит, что если бы он не был немцем, за это он получил бы Нобелевскую премию. Потому что это первый случай в истории человечества, что за Полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты, всё абсолютно выращивается. А поскольку он немец, то Нобелевскую премию не дали, но потом всё-таки, после издания этой книги, он получил возможность попытаться устроиться в западной части России,

СССР — и он в Министерство высшего образования поехал в Москву. Передвигаться-то мы могли, только жить нигде нас бы не взяли навсегда. И ему дали место — три института объявили конкурс на замещение кафедры, которой он до ареста ведал, — Кишинёв, Симферополь и Сталинград. Ну, в Кишинёве и Симферополе сразу, когда он подал свои документы, увидели, что это немец и что это бывший заключённый, и сразу обком партии наложил вето. А в Волгограде повезло больше. Всё-таки папа-то произрос как учёный в Саратове, и ректором Сталинградского университета был один из его бывших аспирантов ещё до ареста, уже пожилой человек, тоже профессор. И он пригласил его, и папа прошёл по конкурсу и начал работать. Но тогда был закон в России, у нас в Советском Союзе, что три дня только имеет право человек без прописки быть, жить и работать или учиться. И папа пошёл, значит, он уже работает, живёт в общежитии студенческом, ему комнату дали. А мы в Сибири оставались. Он говорил: «Вы оставайтесь тут. Неизвестно, как получится». И мы там жили в такой глинобитной избушке. Не прописывают. Ещё раз подаёт документы — не прописывают. Месяц живёт, второй, шесть месяцев, полгода прошло — не прописывают, отказывают. Минус, минус. То есть он реабилитирован, он имеет справку, где написано, что все эти обвинения были ложными, не подтверждёнными, абсурдными, беспочвенными. Несколько бумажек о реабилитации, а минус остался. Один начальник КГБ сказал, не нам, а другому, тоже большому специалисту, тот тоже начал: «Как же так, я же реабилитирован». — «Ты запомни, — они же только на “ты” называли и ещё добавляли иногда (ну, когда уже освободились, они себе не позволяли этого, а пока ты ещё был там, под комендатурой), — ты, сука, не забывай, что у тебя хоть и реабилитация, хоть мешок бумаг, а на спине у тебя всю жизнь цифра 58 будет написана». Вот этому я сама свидетель. Анисько была фамилия этого человека — малознакомый человек, тоже освобожден, реабилитирован и хотел начать, так сказать, жить как все. А ему сказали: «Момент, сзади у тебя всю жизнь будет написано». И мы это чувствовали очень долго. Вот здесь только, в Петербурге уже как-то немножко это прошло. Да, вымерли все. Вымерли. Я вот одна, как динозавр. Я самая старая.

В общем, полгода прошло без прописки, тогда папа пошёл к ректору. Ректор такими мелочами, наверное, не занимался, папа, наверное, и не обращался бы к нему с этим. Но раз его не прописывают, а по закону он не имеет права работать и жить без прописки, то пошёл. Его могут оштрафовать или опять в тюрьму даже посадить, это было наказуемо. И говорит: «Я уезжаю, я запаковал свой чемоданчик, и возвращаюсь в Сибирь, там мне в Красноярске дадут работу. В Красноярском институте». Они предлагали ему, действительно, он даже ездил туда и знакомился. Ну, тут ректор всполошился и пошёл к первому секретарю обкома партии. У него там ещё какие-то дела были — я, говорит, сейчас выясню. Ну и вот. А был в то время очень хороший первый секретарь, Школьников его фамилия, вот и партиец, и первый секретарь обкома, но были среди них всё-таки тайно человеческие чувства сохранены в некоторых. Ну вот, ректор ему говорит: «Между прочим, у нас специалистов после войны мало, мы до сих пор ещё штаты не можем укомплектовать, и вот такого профессора мы получили, который родился здесь, который знает эту землю, который живёт этой землёй, этой наукой. И вот уезжает обратно в Сибирь к семье. Как быть?»

Тут же первый вызвал помощника и говорит: «Три дня — чтобы у Шульмейстера была прописка, чтобы у Шульмейстера была квартира из расчёта всей его семьи». На следующий день в институт приезжает этот помощник и говорит: «Товарищ профессор, дайте в машину ко мне, я покажу вам вашу квартиру». Рядом с обкомом партии был обкомовский дом. Там освободилась квартира четырёхкомнатная. А мы, когда папа уезжал, говорили: «Папа, ну хоть бы двухкомнатную квартирку, чтобы вы с мамой в одной камерке, и мы чтобы с сыном в другой». А так мы же все в одной глинобитной избушке. Четырёхкомнатная квартира, 105 метров. Папа говорит: «Нет, эту квартиру я не возьму. Нет, нет, нет. Я нет, нет». Ну страх, 20 лет пробыть в тюрьме, за то, что ты умный, за то, что ты там... И тут вдруг такую квартиру дают. Страх! Сейчас придут и отнимут, и выбросят на улицу тебя. Хорошо, если только на улицу. И помощник: «Понимаете, я должен товарищу первому секретарю завтра отчитаться, что вы прописаны, и ключи от квартиры у вас,

и всё в порядке». Ну, в общем, уговаривать стал. Папа взял ключи, дал нам телеграмму: «Собирайтесь, приезжайте».

И вот мы тогда приехали. 1961 год был. Но в этот момент уже муж умер, в 1959 году, так что он до этой четырёхкомнатной квартиры не дожил. Моментально умер. Это уже был у него третий или четвёртый инфаркт, это не неожиданно было. Так что в августе 1959-го он умер прямо за столом. И мы с мамой и с моим маленьким, 6 лет ему было, сыном приехали в Волгоград. В Сталинград, который через полгода только на XX съезде стал Волгоградом, когда был разоблачён культ личности. Но волгоградцы бунтовали, возмущались много десятилетий, а сейчас прошло уже 60 лет почти с тех пор, переименование произошло. И теперь перестали возмущаться, потому что вымерло старое поколение. Это вот, так сказать, обо всей семье.

Ну а у меня, конечно, очень были тяжёлые годы. Это я вам в общем о семье, как они приехали, как они село Мюльберг основали, как они богатели, работали, детей за границей учили. Ну а у меня лично, конечно, очень много было бед.

Значит, теперь у нас будет глава — персонально обо мне.

В 1941 году я окончила 8 классов. Отличница пожизненная. Я. Математика мой любимый предмет. Вот 16 июня 1941 года, мой день рождения, мне 16 лет, я сфотографировалась на маленькую фотографию на паспорт, в 16 лет получали паспорт тогда. А это уже увеличенная. Паспорт я не успела получить, через неделю началась война. Мы ничего ещё плохого не подразумевали, не подозревали, поэтому весь класс наш сразу собрали, хотя уже каникулы были. Отправили на уборочную куда-то в Казахстан. Ну, Казахстан там рядом. Весь класс, весело, в палатках спали, воспринимали это как романтику, конечно. И там мы долго были. И в августе. Вдруг у меня так вот чего-то... Ну а война идёт вот уже и... Но мы как-то ещё это не ощущаем особенно.

И вдруг у меня как-то вот в августе так чего-то сердечко моё заболело, я своей учительнице, классной руководительнице говорю: «Я, — говорю, — так бы хотела домой съездить, к маме». У мамы после ареста папы очень здоровье плохое было. Потому что когда арестовывали профессоров там, военачальников, арестовывали же и жену. Увели папу под утро, уже часов пять утра, наверное, было.

Всё искали оружие. В грязном белье даже всё перебирали. Один стоял и из грязного бака с бельём спрашивал: «Что это?» — там, где-то в ванной. Мама говорит: «Это грязное бельё». И он, значит, одну вещь за другой вынимал и рассматривал. Часов в 5 утра они убрались, и мы ждали, что сейчас за мамой приедут. Они обычно так делали: увезут человека, а потом через некоторое время за женой приезжают. И так продолжалось много недель. Мама не ложилась спать вообще. Чтобы сразу встать и уйти. И, естественно, я не спала. И вот у меня на базе этого периода хроническая пожизненная бессонница. Потому что эти шаги на площадке — Беатриса, с которой я вас обязательно должна свести, тоже говорит — у этих людей, которые ночью, крадучись, подходят к квартире, походка, которую ни с чем не спутаешь. Может быть, какой-то очень хороший психолог может описать, а мы можем только сказать о нашем восприятии, что так ходит только один сорт людей. Людей, которые совершают преступные деяния. И так всю ночь: мама не спит и всё меня уговаривает: «Ну ты ложись, тебе же в школу. Ложись, поспи». А я лежу, я не могу уснуть, я слушаю — вот так, вот так, вот так они ходят [показывает]. Вот так. Не так вот, как люди [отбивает по столу], а вот так вот, вот если ритм, вот так. Они идут, и в то же время они как хищные звери прислушиваются. Ну и на почве этой у мамы, по-видимому, нервная система пострадала, она была тихая, спокойная, но бессильная, обессиленная, молчаливая. И я около неё, конечно, страшно страдала. И классная руководительница говорит: «Ну поезжай...» Я уже не помню, сколько часов там, какой-то пригородный поездика ходил.

Приезжаю, а тут уже указ 28 августа 1941 года... Выселить с треском. Мы в глаза не видели этого указа. Ни в центральных газетах его не было, а в нашей местной газете саратовской мелким шрифтом две строчки. Где-то в самом низу, куда уже никто не заглядывает, было написано, что в связи с тем... Это мы теперь вот в книжках его прочли — а тогда мы 20 лет были в ссылке, и мы его не читали. Значит, в связи с тем, что мы все, начиная от младенцев и кончая стариками, являемся потенциальными врагами, что при приближении немецких войск мы обязательно будем оказывать им помощь, ну, в общем, можете почитать потом. Саратов же был наполовину

немецкий город — все профессора, врачи, все знаменитые врачи, профессора в университете на биологическом, на всех факультетах — самые большие должности в науке занимали немцы, потому что к этому времени это было уже третье, четвёртое поколение, которые учились. Вот, например, дядя мой, дядя Георгий был математик в университете. Поэтому работа была, конечно, у них огромная. Это же надо, сколько составов — на фронте не хватало составов, чтобы раненых вывозить, а тут надо было сразу сотни тысяч людей погрузить. Кому давали два дня, кому несколько часов только на сборы. Смотря по адресам. Взять только то, что ты можешь сам унести — носильщиков, мол, у нас нет для вас.

У нас было так: пришли три милиционера вышколенных, наглаженных, вежливых до тошноты: «Вот, правительство очень заботится о вас, о вашей безопасности, поэтому решено отправить вас подальше от фронта». Ну, считали, что мы такие идиоты, что мы такие недоумки, что мы ничего вообще не понимаем, что с нами можно делать что хотят. Ну и делали, конечно. За нашу безопасность они, оказывается, беспокоились, и поэтому нас надо подальше в Сибирь услат, куда, как говорится, Макар телят не гонял. Нельзя выходить из дома теперь, потому что машины, грузовики придут в любой момент. Значит, с тех пор, как пришли в дом милиционеры, с этого момента мы не должны выходить из дома. Карточная система уже была, значит, никакой еды с собой взять ты не можешь. Тогда вообще были очень голодные годы, а тем более когда война началась, даже этот несчастный минимум каких-то продуктов, которые были, крупы в магазинах — они тут же исчезли. Мыло тоже. А ведь мы же не представляли, какая дорога предстоит. Нам же никто не сказал, куда. Ну, короче говоря, мама слегла. Лежит плашмя, без движения, у неё началось страшное на нервной почве расстройство. Погибала просто. Поэтому, когда через одну или две ночи приехал грузовик — ну лежит она и всё. Ладно, до следующего эшелона. И так она лежала полмесяца, и 16 сентября — вот я нашла в этой книге номер нашего эшелона — 16 сентября предупредили, что это последний эшелон, если с ним не уедете — в тюрьму, за неподчинение. Что я, девочка, могла взять? Я даже не помню, что я могла. Ну что-то я взяла, наверное. Значит, тут на руке мама висит, и вот так мы вышли

в выходную дверь, а семья, большая семья русских, с детьми, они тут же уже протёрлись мимо нас и скорей-скорей в квартиру. Они всё получили, всё, что мои родители наживали в течение многих лет... К этому времени они там уже были лет 25 женаты. Огромная библиотека была, в папиной комнате. Пианино немецкое — папа так любил, когда мы играли, и пианино стояло у него в кабинете, чтобы мы свои уроки музыкальные у него делали: «Вот мне так хорошо работается, когда вы там бренчите». Всё, всё. И мы вышли.

Ехали мы три недели. В вагоне, в котором скотину возят. Стоит он на насыпи, и никаких лесенок, и вот эти старые люди, беременные женщины, ночь. Погрузка всегда ночью происходила. Причём не на вокзале, а где-то за городом, на какой-то ветке железнодорожной стояли эти составы. С обеих сторон нары, внизу солома, нары — этаж, солома. Соломы было достаточно. 40 человек в каждый вагон. И вот как я маму в вагон втащила, я даже не помню. Наверное, кто-то помогал, потому что у всех и старые люди были в семье, и дети были, и беременных было очень много, молодых женщин. Одна родила у нас в вагоне. Дверь задвинули, на засов закрыли, и в каждом вагоне сзади такой тамбур был, там часовой в тулупе. Это сентябрь месяц, а ведь не в Сочи мы ехали. Ну вот так и ехали. Человек же живое существо, он должен продукты жизни куда-то девать, а тут везде лежат люди и в помине нет туалета, потому что когда свиней и коров возят, они не соблюдают ничего, им это не надо. В какой-то момент засов отодвигается: «Выходи!» Ну опять, кто как мог, вышел. Кто прыгнул, кто слез, кого вытащили... Стоим. Ну, это первый раз, мы потом умные были уже. То есть знающие... «Чё стоите, фрицы несчастные?» С этого дня мы только фрицы были. В общем, нам предложили сесть вдоль вагона и быстро-быстро... А потом давай-давай обратно, и так, значит, утром и вечером. И потом, когда открывалась дверь, мы уже знали, что надо делать. Мужчины, женщины, молодые женщины, молодые мужчины, старые мужчины. То есть сразу было нам показано, что человеческое достоинство нам не полагается больше. Вот так мы три недели ехали. Как мы, что мы с мамой ели, я не могу вспомнить, потому что у нас никаких запасов не было. Никаких запасов, и не давали ничего. Ну где они столько еды наберут-то на нас? Мы ехали в одном направлении, понятия

не имели куда, на станциях не останавливались. Единственное, иногда на каких-то степных остановках останавливались и нам разрешили выйти с ведрами и из вот таких вот, знаете, насосом качают, из скважин воды набрать. Начались сразу эпидемии детские. Такая болезнь, как корь, скарлатина — она в одном вагоне начнётся — и по всему составу. А потом начали мёртвых детей собирать. Вот подъезжает вагонетка — такая тележка, вагонетка называется — открывается дверь и: «Давай!» Уже знали. Мать должна была своего умершего ребёночка отдать. И их клали как бревна. Вот так вот, на эту вагонетку. И дальше везли, к следующему вагону: «Давай!»

ЖК: Сколько вам было лет?

МК: Шестнадцать. Вот эта фотография. Вот так мы ехали. Сначала мы ехали, как нам казалось, в южном направлении. Даже кто-то начал шутить, не на юг ли нас куда-то везут? А потом в одно прекрасное утро, когда встали, поняли, что мы на север едем. Оказывается, нас никто нигде не принимал. Последний эшелон, и везде уже полно. Ведь это из Кавказа везли и из других мест... На Кавказе были, на Украине были колонии, и в Крыму были колонии немецкие. С Украины не всех успели вывезти. Их потом, после войны наказали. Потому что в первые же дни войска немецкие вошли туда. Ну, в общем, в одну прекрасную ночь поезд остановился, и по вагонам начали кричать зычным голосом: «Вылезай! Вылезай!» Открыли все засовы, двери. Кромешная тьма, ничего не видно. Где мы — в степи ли, в лесу ли, — понятия не имели. Скорее надо было освобождать вагоны, потому что состав должен дальше куда-то по своим делам идти. Высоченная насыпь, смотрим вниз и видим, что буквально овраг под ней. Ну и таким же образом начали свои узелки сбрасывать, коробки, кто что взял из своих — немощных, больных очень много было. Но вот почему-то детские эпидемии в основном были. Они самые летучие. Так что далеко не все доехали до места. Сбрасывали, сбрасывали, скорей-скорей, и состав, действительно, тут же отошёл. Видно, там же надо было и солдат возить, и заключённых возить, и нас возить. Холод страшный. Вот мы на какие-то узелки сели — какие-то узелки я всё-таки взяла. Маму посадила. Моросило. Я достала, там такая клеёнка старая была со стола. Я взяла, накрыла маму. А потом, когда рассвет начался, мы

заметили, что мы сидим в болоте и вмёрзли уже в это болото. Это было болотистое место вдоль насыпи железнодорожной. Поэтому она такая высокая была, эта насыпь, потому что, оказывается, болото. Это было между Омском и следующим каким-то там пунктом. Это была степь, как же она называлась, забыла я.

ЖК: Барабинск, может быть, нет?

МК: Наверное. И никакого начальства, никого, чтобы что-то хоть сказать людям. Что, какие перспективы или что. Это же всё живые люди. Но за людей нас не считали, давно уже не считали. Там один мужчина стал говорить: «Ну что же они нас сразу не расстреляли всех, что же они нас сначала так мучают?»

Ну, в общем, мы сидели сколько-то дней. Вот в этом болоте, и мама моя, ну, вот, замертво. И я увидела, что где-то издали домики. Значит, это какое-то село. И я говорю: «Мама, давай я тебя отведу в это село». Ну, идти она не может, волоку, в одну избушку — действительно, маленький какой-то населённый пункт — стучу: «Вот, примите маму мою, она совсем больна». «Нет, нет, нет», — закрывают дверь. И в одной избушке, я смотрю, окно завешано красной тряпкой, это значит ребёнок больной, корь. Обычно при кори осложнения на глазки часто бывают, завешивать обязательно нужно красной тряпкой окно. Я думаю, вот здесь больной ребёнок, вот здесь меня примут. И я им маму всучила, они мне говорят: «Вот тут у нас телок за печкой, там тепло, вот положи свою мамашу туда, к телёночку к этому на солому, но в тепло». Без еды, без питья, без всего. Уже мы в коросте все, в грязи. А я скорей обратно, а мама ничего уже не соображала, ведь могли приехать, прийти за нами. Или нас тут на погибель оставили, пока мы все сдохнем. Мы же ничего не знали. Думаю, а вдруг тогда нас куда-нибудь дальше отвезут, а мама здесь останется у чужих людей. Я даже не знала, где это на географической карте находится вообще. Но потом, через какое-то время, через сколько-то дней, начали приходиться подводы, запряжённые верблюдами. И кто, значит, смел, где мужчины были, там скорей, скорей семью бросали в эти большие такие деревянные подводы, как-то они назывались, бестарка. Почему «бестарка»? Ну, наверное, на казахском языке это уже было. Ну а я и не стремлюсь, потому что мне же надо маму привезти. Потом лошади,

потом на быках подводы пришли, и вот осталось уже несколько ку-чек, вмёрзших в кочки. Я, ещё была одна старушка парализованная, в кресле вообще была. Её тоже в ссылку отправили. Она уверяла, что она вообще не немка, а латышка. Ну, тоже может быть. По фамилии смотрели. Ну, в общем, наступил момент, когда я поняла, что я должна маму забрать, потому что я и вот несколько этих старух беспомощных было. Я, значит, за мамой, говорю: «Мама, пойдём». И мама всё это выдержала. Ну, вообще, а я как выдержала? В конце концов тоже какой-то вид транспорта пришёл, и мы поехали. Снег, снег, снег уже был, выпал. И нас привезли в аул, который назывался Алабота. Ну, я поняла, что мы в Казахстане. И сунули нас в юрту, в первую попавшуюся юрту. Там большая казахская семья, была кромешная тьма, уже была ночь, а это как раз месяц, когда они вечером едят. У них праздник какой-то, Байрам, забыла, как он называется — они только вечером едят. Ну, они так на нас посмотрели: «Фриц?» А их предупредили, что фрицев привезут. Ну, вот так.

ЖК: То есть они не очень доброжелательно к вам отнеслись?

МК: Ну как вы думаете, если в маленькую юрту, где огромная семья, а лежат они, у них же кроватей нет, у них просто войлок, и они вот так все ложатся. Ну вот, где-то легли мы там, и через несколько минут мы поняли, что нас съедают вши. Если я буду так подробно рассказывать, мы с вами, как Шахерезада, не закончим за тысячу и одну ночь...

ЖК: Но в подробностях самое интересное. Лучше мы прервёмся, а потом я ещё приду и мы продолжим.

МК: Нет, мы все-таки перескочим, потому что так подробно нельзя.

ЖК: Или вам не очень хочется про этот период рассказывать? Вам тяжело?

МК: Не хочется. Не хочется.

ЖК: Давайте перейдём туда, где вам дальше, где вам проще говорить.

МК: Потому что просто ещё очень много впереди, ещё очень много тюрем мы с мамой прошли и почему... Ой, это длинная история.

ЖК: Ну, то, что вы рассказываете, это, это уникальные свидетельства. Я очень признательна вам, что вы нашли время и возможность

поговорить. Я хотела спросить вас: про мамину семью вы довольно подробно рассказали, а про папину почти не рассказывали. Вот мне интересно, как, чем они были похожи, отличались вот эти две семьи, мама и папа.

МК: Нет, ну, папина семья... Дело в том, что моя бабушка, Доротея, благодаря тому, что она из очень богатой семьи уже, это уже был не слой... Вообще, все, кто приехал по указу Екатерины, это были крестьяне, которые ехали, чтобы землю получить. А вот они, благодаря тому, что они смогли сориентироваться в этих природных условиях и использовать водопады на Волге для строительства мельниц, ну, наверное, были немножко более образованные, более талантливые, что они не в землю сразу врылись, а стали другие варианты существования искать, поэтому бабушкина семья в общем-то уже была очень образованная. И бабушка сама была образованная. А вот бабушка, скажем, с папиной стороны, до конца дней своих, она тоже дожила до 99 лет, даже и по-русски не говорила. Они были крестьяне. И они сразу прошли все эти три поколения первых, самых тяжёлых, крестьянами. Но они были тоже очень, по-видимому, талантливые, потому что уже мой дедушка, то есть папин отец, уже окончил в Саратове коммерческое училище. Он был старший сын. И его отец, то есть мой уже прадедушка, крестьянин, он уже понимал, что надо на дальние перспективы как-то уже готовить детей, поэтому даже мой дедушка уже окончил коммерческое училище, что ему давало возможности, скажем, купцом стать. Отец Вавилова тоже был мальчиком в магазине, и благодаря его таланту хозяин этого магазина заметил его и сделал в конце концов компаньоном, и он стал миллионером, отец Вавилова. Папа-то с Вавиловым учились в академии вместе, поэтому у нас Вавилов бывал дома, и папа у него бывал, и в одной смертной камере они сидели в Саратовской тюрьме, но не одновременно, с интервалом в 2 года. Потому что Вавилова в 1940 году только арестовали. Папа тоже был крестьянский сын, но ещё до войны он был уже членом ВАКа, Всесоюзной аттестационной комиссии. То есть в 35 лет он уже был член комиссии, которая утверждала все докторские и кандидатские диссертации, давала путёвку в жизнь, в числе других членов этой комиссии, конечно. Это огромное достижение. В 35 лет! Так что, по-видимому, они были

очень способные, Шульмейстеры. Дедушка с коммерческим училищем занимался и хлебопашеством, и в то же время он открыл магазин. В Америке такие магазины назывались «Магазин колониальных товаров». То есть всё, что нужно для крестьянина. Поскольку он коммерческое училище окончил, он видел, что каждый крестьянин не может в город куда-то ехать, чтобы купить лопату, или за метлой какой-то поехать, или за сохой, за плугом. Поэтому он решил, что попутно с хлебопашеством он откроет магазин, в котором всё нужное для сельской жизни, для крестьянина будет: хомуты, упряжки, инвентарь разный для обработки земли, посуда всякая. В 1930 году его раскулачили, конечно, дедушку. Помню, мне 4 года было, когда последний раз мы были у них в деревне, я помню этот магазинчик: ступеньки наверх, и там посуда вся эта. Так интересно было мне. Но поколение папиных братьев и сестёр, все до единого получили уже высшее образование. Папа старший, и их было 8 человек: 4 брата и 4 сестры, все получили, одна сестра, правда, осталась бухгалтером, но она, видно, не очень способная была, а вот остальные — дядя Петя кандидатом наук стал, инженером стал, все, в общем. Несколько из них ещё успели в Германию уехать в 1990-е годы.

ЖК: То есть они, получая образование, они уезжали, в деревне уже не жили?

МК: Нет, просто дедушка им давал возможность учиться. В деревнях школы были везде, и дети обязаны были учиться, это был закон, которому подчиняться каждый должен был. Но другое дело, что не все всю школу оканчивали, некоторые только 4 класса и оставались крестьянами, а эти просто были, по-видимому, изначально способными ребятами, поэтому они все окончили деревенскую школу, семилетки тогда были, и поехали в город, на так называемый рабфак — рабочий факультет, слышали такое?

ЖК: Слышала, слышала.

МК: Они все кончали сначала рабфак... Но это заменяло, по-видимому, 8, 9, 10-й класс. А после рабфака они все в Саратове в институт пошли. Они в Саратове продолжали все учиться.

ЖК: А родители так и оставались жить в деревне?

МК: Нет. Дедушку же раскулачили в 1930-м. Считалось, что он кулак. Выбросили из дома. Дом до сих пор стоит. Такой

фундаментальный дом, кирпичный, красный, там школа до сих пор. Это уже прошло 100 лет почти. Не почти, а 100 лет, наверное. Ну да, меньше чуть-чуть.

ЖК: А вы бывали в тех местах? Вот уже потом, во взрослом возрасте.

МК: Когда мы переехали в Сталинград, папа первым делом в институте попросил машину, поехать посмотреть на своё село через 20 лет отсутствия. Уже 24 года. Ну, печальное зрелище. Когда немцев увезли, скотина бегала, с ума сходила, сдыхала от жажды и голода, недоеная. Поселили туда каких-то временных эвакуированных, временных беженцев, которые сожгли всё, что может гореть, чтобы отопиться, и стояло село разрушенное — страшное зрелище. И папа говорит: «Скорей, скорей уедем».

ЖК: А вы вместе поехали тогда, да?

МК: Да. Вот эта церковь, это было католическое село.

ЖК: Это там, в селе, такой костёл был?

МК: Когда немцы приехали туда, в Россию, им Екатерина дала деньги, всем свободу вероисповедания, каждый имел право свою веру исповедовать. Вот мама из лютеранской семьи, а папа из католической. Построили деревянную церквушечку, маленькую, временную. И старейшины решили: «Каждая семья должна завести ёмкость, баночку, коробочку, и каждый грош, который, казалось, лишний, медный, бросать. И когда всё село наберёт сколько нужно денег, они построят настоящую». Католики ведь очень помпезно оформляют свои церкви, у лютеран всё это очень скромно. И ровно через 100 лет, в 1865 году, через 100 лет после приезда в Россию, уже третье поколение стариков объявило: «Открывайте коробочки, несите все свои горы меди». И денег было столько, что они могли нанять итальянца-архитектора, выписать мрамор из Италии. У них же эти белые мраморные фигуры. И в 1903 году церковь была освящена. И папин младший брат, дядя Теобальд, был первый, кого крестили уже в этой церкви. И ей суждено было всего 14 лет просуществовать. Революция 1917 года первым делом разоряла церкви. А копили 100 лет. Никто этой истории не знает. Но папа, поскольку прожил 101 год, очень много мне рассказывал, особенно в последние годы. Когда он был молодой, он нас не знал вообще, он работал

только. А последние годы он мне очень много интересного рассказывал. И я однажды в одной семье увидела календарь отрывной, и на обложке вот эта церковь. И я прочла «Каменка». А у папы была фотография, он успел тогда сделать, когда поехал посмотреть своё село. Значит, крыша снята. Её хотели взорвать в 1941 году. Фриц, немец. Но, видно, динамита не хватило. И вот в таком виде она стоит до сих пор.

ЖК: То есть...

МК: Крышу сняли, вот тут тоже какие-то следы. Вот такая история. История этой знаменитой церкви. Вы знаете, если бы я была моложе, у меня было бы больше сил, я могла бы целый исторический путеводитель написать, потому что я так много знаю.

ЖК: Вы имеете в виду Каменку или вообще территорию, Республику Немцев Поволжья?

МК: Ну, вообще всё, что я в жизни пережила. Вот это три тома, где перечислены немцы начиная с XVI века, которые, приехав в Россию, сделали что-то полезное. Там и полководцы. А четвёртый том я вам хочу показать, здесь помещены все названия старые немецких сёл. Вот, допустим, я знаю, что моя бабушка из Мюльберга. А Мюльберга нет, извините, на карте больше. Там есть Щербаковка. А я недавно сама узнала только, что она теперь Щербаковка. Я бы искала Мюльберг на карте. И вот создали вот этот том, для того, чтобы люди, интересующиеся своей родословной, могли найти село. Они знают, что, допустим, их предки происходят из села Гримм, все немецкие были названия. А теперь нет Гримма ни на одной карте. Так он возьмёт этот том и увидит, что Гримм раньше теперь называется Петровка, например.

ЖК: А Каменка?

МК: И вот что ещё интересно. Если в этом селе родился кто-то, ставший в будущем знаменитым человеком, то это здесь указано. Так, Каменка. Раньше называлась Беер. Камышинской губернии и так далее и так далее. Значит, выходцы из... из Майнца, из Вюрцбурга. Вот. Католический приход, церковь, и так далее и так далее и так далее. Так.

ЖК: Но вообще немцы-католики — это же довольно редко встречалось? Или довольно распространено?

МК: Нет, Бавария, например, католическая полностью. А в остальных землях, может быть, немножко в Восточной Пруссии, то, что с Польшей граничит — Польша же католическая и Литва католическая.

ЖК: Да, да, да, конечно.

МК: Вот, значит, Каменка, написано, что там средняя школа и то, сё, пятое, десятое, «место рождения профессора Константина Георгиевича Шультмейстера, 1895–199...» — в шестом он умер, они в пятом написали. Вот. Значит, за столько лет существования села мой папа был знаменитый человек.

ЖК: А большое ли это было вообще село, Каменка?

МК: Сейчас я вам скажу. Так, последний раз в 1926 году данные — 2000. 3098 — это в 1911 году, а в 1923-м, после революции — 2662.

ЖК: И правильно ли я понимаю, что оно было немецким, и люди говорили там по-немецки в основном?

МК: Только по-немецки. Бабушка моя, Екатерина, уехала в Сибирь, где ещё последние 40 лет жизни прожила, несколько слов по-русски, наверно, она выучила, но говорила она, конечно, только по-немецки. А вот мои двоюродные братья, всё сами составили там, в Германии, там же архивы, оказывается, все сохранились, кто уехал, откуда, вы представляете?

ЖК: Да.

МК: Первый, кто уехал из Германии — это Йоханес Шультмайстер. Вот видите, какого года рождения? Он мальчиком, значит, туда уехал. Он первый, кто умер уже в России в Каменке. Значит, вот это его дети. Вот это мой, моя ветвь.

ЖК: Да, да, поняла.

МК: Так, вот он женился и вот это их дети. Вот это уже мой дедушка...

ЖК: Да.

МК: ...Йохан Борг. А, нет, нет, нет. Это мой прадедушка, минуточку, нет, нет, нет. Этот женился, вот видите, на Сюзанне. И вот у него, вот это мой прадедушка. Его очень хорошо папа мой помнил и очень много о нём рассказывал. Так... вот ещё от второго брака. Значит, вот этот Михаэль женился на Барбаре Кизнер...

ЖК: Да...

МК: Этих я уже — Барбер мы её называли — помню смутно. И у них родился Георг, мой дедушка.

ЖК: Да, поняла.

МК: Георг женился на моей бабушке, Катерине Баймлер, у которой я каждое лето проводила, и у них первый сын, Константин, это мой папа. Вот это его братья и сёстры. А это мы с сестрой. Он женился на моей маме, на Ольге. Это они мне прислали, вот то, что они не знали, я им потом восполняла. Вот это уже мой сын.

ЖК: А про сестру вы ничего не рассказывали, она была старше на 2 года?

МК: Вот моя сестра. Актриса. Расскажу, расскажу. Просто 91 год жизни очень много содержит.

ЖК: Да, да. Конечно. А вы говорили по-немецки с самого детства?

МК: С детства. Первый язык был немецкий.

ЖК: И с мамой, с папой вы говорили по-немецки?

МК: Да, да. А потом, лет с пяти, когда мы уже начали во дворе сами играть, на улице с другими детьми, с русскими, то мы уже начали по-русски. И очень быстро, в детстве это моментально, у нас параллельно пошли языки. Вот до пяти примерно только на немецком, потому что только в семье находились. А столкнувшись с русскими уже вплотную — в играх, потом через год сестра уже в школу пошла, я в садик ещё один год ходила — очень быстро пошёл русский язык.

ЖК: А как родители к этому относились?

МК: Да никак не относились, это естественно. А как же жить в стране и не знать язык?

ЖК: Но я так понимаю, что многие немецкие семьи, колонистов немецких, так и не говорили по-русски до самой депортации?

МК: Ну, потому что у них не было контактов с русскими, потому что деревни немецкие оставались очень изолированными. Ведь деревни обычно создаются постепенно. А эти деревни немецкие появились сразу, вот приехали, и сразу основали... Им дали приказ такой, вот вам земля, создавайте деревню и делайте тут то, что считаете нужным. Поэтому деревня сразу создавалась целиком, как

немецкая. Там не было русского населения. У них не было контакта с русскими. А мы-то родились уже в городе, когда папа уже работал. Уже окончил академию. Он вообще немецкий язык совершенно забыл.

ЖК: Серьёзно забыл или просто не пользовался?

МК: Ну, не применял, он юношей уехал в Москву, 17 лет, и работал, учился там и подрабатывал там, а потом получил назначение в Саратов в институт, опять же русский. Нет, а немцы-крестьяне, те, кто не знал русского — не потому, что они не хотели или их родители не хотели, у них не было контактов с русскими.

ЖК: Поняла.

МК: А потом, когда они в ссылке попали в русские деревни, в казахские деревни — сколько браков с казахами было заключено?

ЖК: Ну а всё-таки у вас дома был домашний язык немецкий?

МК: Нет, русский.

ЖК: Вы уже говорили по-русски?

МК: Только русский. Немецкий — это изредка какое-то слово.

ЖК: А мне вот ещё интересно: папа католик, мама лютеранка — а у них было венчание? Как они поженились?

МК: Папа был атеист уже с юных лет, ему это было абсолютно безразлично. Да и потом в 1920-е годы религия была под таким угнетающим режимом, что тут уже особенного значения этому не придавалось. Это какие-то бабульки ещё хранили, как-то сохраняли религию, тайно Библию сохраняли, хотя Библии отнимались, сжигались. А молодые это всё проще пережили. Так что это уже не играло никакой роли в жизни совершенно. Наоборот, преследовалось. И зачем себе усложнять ещё жизнь тем, что ты там хранишь что-то. У нас Библии, ничего такого в доме не было, конечно.

ЖК: А мама тоже не была религиозна?

МК: Нет, она, безусловно, была верующей и в детстве, и в юности. Но когда вышел запрет, и папа уже был на ответственной научной работе, то никогда разговора даже не было об этом. У нас и Библии никогда в доме не было. Это же тюрьма была уготована, сколько я потом встречала позже людей, которые только за хранение Библии десятку получали.

ЖК: Да.

МК: Зачем же людям усложнять свою жизнь? Тот, кто был верующий, сохранял веру в душе, но не афишировал, потому что по распоряжению Ленина вешали в деревнях священников, батюшек, попов. И Ленин говорил, чтобы они висели неделю, чтобы люди проникались, так сказать, большим страхом и видели, как их накажут, если они будут веру свою проявлять. Это факты, Хрущев это всё на XX съезде озвучивал, так что это уже не секрет.

ЖК: А вас с сестрой не крестили тайно? Бабушки не настаивали на этом?

МК: Не могу сказать. Мои родители жили в городе одни, без бабушек, бабушки были в других местах. Так что нет, такого фанатизма не было. Каждый мог делать в душе то, что он хочет. Верить или не верить, но никому это не навязывалось. Во всяком случае, у нас в семье этого не было.

ЖК: А мне ещё интересно, вот вы в семье всё равно считали себя немцами, или этот вопрос вообще не обсуждался, вашей национальности?

МК: Нет, ну мы были немцы, у нас в паспортах было написано, что мы немцы. Мы, может, и хотели бы забыть, что мы фашисты, фрицы и прочие прозвища, что нам давали, но нам это не давали забыть очень долго. И в общем-то, почти всю жизнь. Такие вещи не прощаются, такой грех. Что ты родился немцем или евреем. И то и то очень плохо. Это не дадут забыть. Ни в коем случае. Кто-нибудь выпьет рюмочку и назовёт жидом.

ЖК: И сейчас что-то такое тоже бывает? Вы чувствуете это?

МК: Сейчас я настолько изолированно, уединённо живу, вдали от жизненных и политических бурь, что меня этот вопрос уже не волнует.

ЖК: А до того, как началось, до того, как папу арестовали и все ссылки, вы как-то ощущали, что к вам какое-то особое отношение, потому что вы немка?

МК: Нет, до войны ничего особо. Папу арестовали не потому, что он немец, а потому, что он был большой учёный. Тогда арестовывали и грузин, и немцев, и русских. Вавилов — член-корреспондент всех королевских академий мира, русский, а его убили. Так что эта кампания не была связана с национальным. А война началась — ну,

конечно, фашисты. Только тут. А до этого нет... У нас в классе я не знаю, сколько немцев, сколько евреев, татары и русские — кто только ни был, а никому в голову не приходило кого-то обидеть, обзывать или что. Как война началась — в тот же час с нами перестали здороваться в нашем собственном доме, в котором мы прожили... Это был дом научных работников в Саратове, в центре такой дом построили, специально для научных работников в 1935 году. И все работали, многие в одном институте даже работали. На следующий день уже с нами не здоровались.

ЖК: То есть на следующий день после начала войны...

МК: Да.

ЖК: ...ещё до всяких...

МК: Сразу же, сразу же не здоровались.

ЖК: Это было для вас неожиданностью?

МК: Ну как сказать, вы знаете, когда мир рушится, когда тебе на голову просто гранитная плита падает, то ты уже не анализируешь свои чувства. Это сейчас, через сто лет, можно порассуждать, что вы испытывали, что вы чувствовали. Единственное чувство было... что мир рушится, всё. А анализировать свои чувства — это не то время было.

ЖК: Понимаю, да.

МК: Это вам трудно понять, конечно.

ЖК: Ну, мне кажется, что я понимаю, ну, то есть я, конечно, задаю эти вопросы, о том, что вы чувствовали, но понятно, что это уже о том, как вы сейчас это понимаете.

МК: Нет, ну не было же времени даже разбираться в своих чувствах, надо было думать, как достать этот кусок хлеба, как не сдохнуть с голода, как получить возможность пописать где-нибудь. Какие тут анализы чувств?

ЖК: А вот папин арест, он ожидаем был в семье, или это было...

МК: Конечно, конечно. Даже мы, дети, ожидали, потому что вокруг, в доме очень многих уже арестовали, потому что дом был научных работников. Там ниже, чем профессор, никто не жил. Специально построили дом такой. В центре самом. И почти у всех наших подружек уже папы были арестованы. Папу очень поздно арестовали. В середине 1938 года, когда уже прошли вот эти процессы там,

с этими всеми старыми большевиками... Вот у этой куколки даже глазки закрываются-открываются. Видите?

ЖК: Это вы на блошином рынке купили?

МК: Да. В Германии на блошином рынке купила. Косички, видите, какие у неё? Вот я так думаю, это моя какая-нибудь прапрабабушка — вот так топала тут в своём Шварцвальде. У меня тоже были очень длинные косы. Долго. Последнюю пару лет уже ничего не осталось почти.

ЖК: Всё время? Вы сохраняли косы во всех передрыгах своих?

МК: Да. Я не стриглась. В пять лет меня подстригли наголо, не знаю, по какой причине, что-то такое там было. Ну, я даже не помню себя, не помню, какие ощущения у меня были в этот момент. И всё. И всю жизнь экономила на стрижке.

ЖК: Может быть, тогда мы продолжили бы с этого момента, где остановились?

МК: С этого момента, да. Значит, как это происходило? Нас привезли в это время, это было 2 октября 1941 года. Мы несколько недель были в дороге в эшелоне, поэтому, когда нас привезли в этот аул, Алабота он назывался, это была глубочайшая зима уже. Около одной из юрт нас сбросили с мамой, с нашими пожитками. А у другой юрты сбросили эту женщину, которая в инвалидной коляске была. Какая её дальнейшая судьба была, я даже при богатейшей фантазии не могу представить. И мы там ночь или две пробыли, я уже не помню. Мужчины всё-таки пару слов русских знали, потому что тогда же все были в колхозах, значит, они к кому-то — или колхозу, или МТС — принадлежали, они не могли быть такими абсолютно несведущими. Поэтому несколько русских слов они всё-таки знали. И вот я спрашиваю мужчин, есть ли тут школа? Я же окончила 8 классов дома, и я привезла все учебники с собой, тащила за девятый класс. И я не мыслила, что я могу чем-то другим, кроме учёбы, заняться. Он говорит: «Нет, школы нет! Школа джок. Школа джок». «Джок» — это означает нет. Это я выучила в первый день. «Джок». Теперь я говорю: «А где есть школа?» — «Вот, районный центр, Чкалов, село».

А это был как раз посёлок № 12 из 13 специально созданных посёлков для ссыльных. Я рассказывала, они построены заранее были,

потому что, по-видимому, уже заранее эти местности были рассчитаны для репрессивных мер всяких. Чкалов, 12-й поселок, сколько километров? День ехать, говорит. День ехать. Такое измерение. Чем ехать день? Реактивных самолётов не было. А чем? На тракторе ездили и на верблюдах ездили.

Потом я спросила, а где же тут хлебный, ведь страна уже была на хлебных карточках. В Саратове с первого дня войны, или со второго, не помню теперь уже, введены были карточки на хлеб. Я — первым делом надо карточку. Я спрашиваю, а где тут исполком или какое-то учреждение вот, карточки, карточки. «Ну, вот там председатель колхоза, там, там». Он меня послал. Я в ту юрту пошла. Ну и объясняю ему: карточки хлебные надо, кушать надо, а он говорит: «Тебя Гитлер кормить должен, а не мы. Иди к Гитлеру за карточкой». Вот это было моё первое знакомство с жизнью в качестве репрессированной девочки. Что я должна у Гитлера попросить кушать. Знаете, вот счастье мне какое-то всё-таки было дано природой, что я в свои 16 лет (уже три года папы не было) была глава семьи. С момента его ареста. Я вам рассказывала, что мама на нервной почве уже была в общем-то не советчик, не работник. И она всё только говорила: «Ритуля, как ты думаешь, как ты считаешь». Ну, вот я и вынуждена была делать так, как я думаю, как я считаю. Я говорю: «Мама, мы должны перебраться в это село Чкалово. Как далеко оно, они не знают, но за день, говорят, туда можно доехать». И ещё говорю: «Мама, они считают, они на верблюдах и на тракторах ездят, на тракторах они перевозят грузы все, так что это не должно быть в километраже далеко, поедem, давай?» Ну, мама говорит: «Ну как ты думаешь?» — «Я так думаю».

И я стала вот в этом ауле расспрашивать, нет ли человека, который, скажем, завтра должен ехать. Они туда то зерно отвозили, то за горючим ездили, в этот Чкалов. В общем, это был, так сказать, центр района. Ну и один старик-казах говорит: «Завтра моя поедет за горючим». Они «я» не говорили, «моя». «Моя поедет за горючим». Я говорю: «А вы не возьмёте, вот, меня и мою мамку (так они говорили) в Чкалов? В школу, — я говорю, — надо». — «Давай. Чай дашь?» Они же страшные чаепитчики. А чай, как и всё остальное, был в дефиците. Может быть, у нас была пачка чая, вот этот момент

я даже не помню, но, по-видимому, была, потому что я сказала: «Дам пачку чая». Какой чай это был, понятия не имею. Всё-таки прошло 75 лет с того момента. И прошло очень много всего.

Вещей-то у нас было немного, то, что я могла только нести, я вам говорила. Ну и вот, говорит: «Вот там стоит трактор, прицеп-бочка, вот около бочки». Значит, у трактора сани такие прицеплены — полозья, полозья, а поперёк положены доски, на эти доски положена бочка, а может быть, и две, я не помню, из-под мазута, такая чёрная. А сзади остаётся немножко места, можно сесть и свесить ноги. И я, значит, прибежала в юрту и говорю: «Мама, завтра утром, рано утром мы с тобой поедем». — «Ну хорошо, — говорит, — хорошо». И вот одну ночь мы ещё тут в уголке просидели, в этой юрте. У них кроватей нет, у них на ночь кладут кошму. Кошма — это такой толстый войлок из овечьей шерсти, самодельный. И все вот так ложатся. Ну, где-то мы, значит, в уголке сидели, никто нас не пригласил лечь с ними, конечно. И вот утром рано мы вышли, совершенно темно, я маму посадила на этот приступочек. Старик такой добродушный. Они в таких шапках ходят, треух называется. Не только здесь завязки, это малахай называется, если две, а если и сзади такой же, ну как сказать, не знаю даже как назвать её... В общем, здесь два уха и сзади. Это называют треух меховой. Чтобы сзади не задувало в шею. Поэтому он вот тут завязывает, сзади это плотно прилегает, и вот только его личико заиндевевшее выглядывает. Добродушный очень старикашка был. Я говорю: «Мамка упадёт, надо чем-то её привязать, укрепить». Ну и он мне что-то дал. Вот бочка, тут я её посадила сзади, тут этот самый трактор, и вот я её как-то к бочке прикрепила, ну а сама там рядом уж как-то. Ну, в основном я бежала, потому что очень холодно было, надо было греться.

Ну и вот, таким образом мы приехали в село Чкалово. Там не юрты, там районный центр, и там стояли стандартные глинобитные домики, сложенные из саманных кирпичей. Саман — это смесь глины, песка, навоза и соломы. То есть то, что у них было. Никаких кирпичей не было. Степь, степь, степь да степь, степь кругом. И вот стандартные домики сложены. Все одинаковой величины, размера, окна туда, дверь сюда, конюшни здесь, так ряд, так ряд, так ряд. Ни одного деревца, абсолютно пустынная местность. Оказывается, как

мы потом узнали, я вам, по-моему, говорила в прошлый раз, деревья не разрешалось сажать. Там были ссыльные немцы и поляки, которых уже в 1936 году выслали, сослали, они проживали около западной границы в районе Украины, эта область называлась Вольнью. Не знаю, как она теперь называется, но до революции она называлась так. Они говорили: «Мы из Вольни». По-русски они не говорили, но говорили по-немецки и на смеси украинского и польского языка. Вот на этих языках они говорили. Значит, голый совершенно посёлок, всё просвечивалось, всё просматривалось, спрятаться нигде никто не мог. Ни кустика не должно было быть. Трактор ушёл, я поблагодарила старика, дала ему, по-видимому, чай, но этого я не помню, этот момент передачи чая, но, наверно, дала.

Ну и вот, мы стали оглядываться, куда деться-то. Холод ужасный, уже ночь на дворе. В первую попавшуюся хибарку мы постучали, и вышла женщина, и мы к ней по-немецки обратились, она говорит: «Проходите». Мы спросили, можно ли поночевать у них. Это, значит, что из себя представляло: одно помещение с печкой, не русская печь, а плита, и от неё такая вот обогревающая стеночка идёт. Не знаю, как уж её там назвать. Вот за этой плитой у них телёнок стоял. «Вот, — говорит, — я положу свежую солому, можете здесь переночевать». Несколько слов, и мы выяснили, что они уже здесь пять лет, что их вывезли, депортировали в 1936 году от границы. Ну а как это всё происходило, их депортация, мы уже не спрашивали, что они могли взять с собой, взяли ли что. В общем, их сюда всех привезли, они все ссыльные, поляки и немцы. Советские, естественно, все граждане были, но никаких прав выезда, ухода не имели, все они в колхозе, они получали там какой-то минимум, прожиточный минимум из этих заработков колхозных. Бедность страшная, понятия нет о мыле. Бедность беспробудная. Когда читаешь Диккенса, его произведения о бездомных детях, в ужас приходишь. Вот такая примерно картина. Там трое детей было и супружеская пара.

Переночевали мы, утром я пошла, спросила, где школа — действительно, школа была. Тоже такое глиняное здание, но большое, с большими классами. И вот я говорю, что табель свой взяла, что я восемь классов окончила, мне бы в девятый надо. А директор говорит: «А у нас, девочка, нет девятого класса, у нас нет учеников

для девятого класса, все ученики в этом возрасте здесь работают в колхозе. Так что учиться тебе не придётся». Это, конечно, был удар ужасный. Попробовала я карточку опять попросить, тут же райисполком, районный центр, думала, может, тут высшее начальство всё-таки сжалится над нами. И ответ я получила тот же самый, что нас Гитлер должен кормить. Нам хозяйка наша, где мы уже несколько ночей проночевали, говорит: «Если у вас есть что-нибудь из одежды, вы можете поменять на хлеб, на зерно, на картошку, потому что другой возможности тут нет получить какое-то питание». А зима впереди, а зима заканчивается там в конце мая. Моя подружка на следующий год замёрзла насмерть 5 мая. Нина Мищенко. Вот прошло сколько лет, а я помню. 5 мая ещё люди замерзали. Такие бураны там были.

Ну, в общем, у нас было там две простыни — одну мы сразу поменяли, сколько-то зерна нам дали. Ну, как-то мы, в общем, просуществовали. Да, потом мы прихватили с собой из дома папино новое пальто, очень хорошее, зимнее. Только что его сшили, и мама говорит: «Давай возьмём папино пальто, а вдруг папа вернётся». Папа уже в это время на Колыме был. А мы же не знали о нём ничего. Или он уже мёртвый мог бы быть, расстрелянный. Вот мы взяли это пальто в надежде, а вдруг папа вернётся. Ну, мама и говорит: «Давай продадим папино пальто?» Ну и действительно, нашёлся какой-то начальник... Начальство было всё русское. Там было районное КГБ, районное НКВД, райисполком, райком партии, всё как полагается. Это всё были русские, вольные люди, которые, так сказать, нас тут охраняли. Ну и как-то мы на этих клочках своих вещей жили — переодеть нечего самим было, а мы продавали. То есть меняли — деньги не были в обиходе.

Как-то просуществовали это время, а в январе меня взяли в трудармию. И весь только ужас был в том, как же будет мама. И хозяев наших — так мы у них за печкой там и оставались; конечно, не умывались, не мылись, об этом никто и не задумывался, это было просто невозможно, воду носили из колодца, который надо было каждое утро ломом пробивать, потому что он замерзал — их взяли уже в трудармию, даже раньше, а меня попозже. И вот старшего сына взяли, ему тоже было 16, как и мне. Тоже взяли. Оставался

младшенький Вольдемар, Вольдуш. Ему лет 6–7 было, как у него потом сложилось? Куда он делся? Ну, детей оставляли. Если дети старше 3 лет были, мать забирала, а дети — никого этот вопрос не интересовал. Закон был, указ правительства — если детям 3 года, мать забирала. Что с этим мальчиком и с девочкой, девочка повзрослее была, потом случилось — неизвестно.

Сказано было на две недели взять продуктов, а у нас продуктов даже на один день не было. Мы каждый день что-то добывали. Ну, в общем, не знаю уж, как я доехала? Привезли нас на станцию Тайнча, я здесь упоминаю о ней, в этой статье. 60 км, подводды были, на подводдах — сани такие, розвальни, по-моему, они называются. Там ехали старые женщины, которые совсем не могли ходить, ну а мы, помоложе, шли пешком. Никаких дорог, степь. В конце концов дошли до этой Тайнчи, там уже составы стояли, столпотворение вавилонское. Тысячи женщин, кричащих, рыдающих, плачущих. Потом подкатывает состав, эти вагоны скотские, и в каждый вагон загоняют 40 человек. Охранники нас уже сразу под своё крыло взяли, и только крики: «Давай, давай, давай, давай!» В общем, вагон, не пульманы — длинные, большие вагоны, в которых сейчас люди ездят, — а деревянные, маленькие, скотские вагоны. Они из досок просто. В них возят скотину. Естественно, без туалетов, без всего. С каждой стороны на полу солома и нары, второй этаж, тоже с соломой. И очень высокая насыпь, карабкаемся по ней, чтобы захватить место. Сорок человек, и каждый стремится, конечно, на верхние нары в надежде, что там тепло. Я была самая младшая, хотя занималась спортом, балетом, уроки музыки брала, а вот забраться наверх не смогла, так как эти простые крестьянки меня опередили — и поэтому мне досталась свободная щель, даже не место, между крайней женщиной и стеной. И в первое же утро я поняла, что я примёрзла к этой стене. Единственное, что у меня было, одно одеяло, наше с мамой, вот я его взяла с собой. Я в него закуталась. Стёганое, ватное одеяло. И вся эта сторона была примёрзшая. Никакого питания, иногда нам ставили ведро воды в вагон для питья. А вот что я ела — ну не помню, не помню. Эти крестьянки, конечно, имели что-то, всё-таки они уже 6 лет там жили, и у них, как у всех, были коровы, и у всех там какое-то маленькое подсобное хозяйство. Не помню.

Ну, в общем, доехала. Доехала. Самое неприятное, конечно, не знаю, говорить ли это... широкому кругу слушателей или нет... Человек, естественно, живой, и ему, пока он жив, присущи все функции его организма, присущи живому человеку. Они прекращаются только тогда, когда он мёртв, а мы пока ещё были живы. Вот это, конечно, была проблема. Вооружённая охрана была, конечно — у каждого вагона сзади был такой тамбур, где в тулупе, в валенках (очень хорошая амуниция) с винтовкой сидел стрелок. Два раза в сутки открывался засов снаружи вагона, я вам это, по-моему, рассказывала...

ЖК: Вы рассказывали об этом, о том, как вы ехали в ссылку...

МК: Да, и в ссылке, и так же было в трудармию. Так что я не буду сейчас это повторять. Так что естественные потребности осуществлялись на глазах у стоящих охранников, с ружьём наголо, в случае, если кто-то вместо, извините, того, чтобы тут присесть, вдруг вздумает бежать. А вокруг уже была тайга. Тайга непролазная, непроходимая, с медведями и без дорог, без троп, так что убежать никто, конечно, не мог и не собирался. Доехали до станции Усолье. Это я увидела вывеску. Ни одна из женщин, с которыми я была, русский язык не знала, ни одного слова. Все были немки. Опять это слово «давай». Женщины меня всё спрашивали, что такое «давай»? Они только поняли, что «давай» — это самое страшное слово теперь в их жизни. Всё «давай», со злобой, с напором. «Давай». Ну, я им объяснила, что в русском языке «давай» — это имеет один смысл, а в нашей жизни это слово теперь имеет: «будь готов на всё, ко всему». Потом мы очень долго шли пешком в какой-то населённый пункт. Позже я узнала, что это был город Березники Пермской, тогда это была Молотовская область. Привели нас в барак дощатый, здание такое, там же уже, собственно говоря, с 1920-х годов это всё были места ссылок, лагерей заключённых. Поэтому вся инфраструктура там строилась так, ну, есть грубое выражение, на соплях. Грубое, но очень ёмкое, опять же, выражение. Кое-как, из досок. Что там будет холодно и будет дождь проникать, и снег проникать — это никого не интересовало, главное, что можно сказать, что крыша есть. Вот в такой нас барак привезли, там было несколько отделений, метров 16. Эта комната у меня 18 метров, а там метров 16 было, наверное. С нарами внизу, наверху — солома на нижних, солома на верхних.

Между нарами узкий проход. Никакого следа туалета, умывальника, водопровода, ничего этого не было. Даже следа не было. Ну, я решила — наверное, это тут на один-два дня, пока нас куда-то устроят. Мы же должны будем работать, значит, мы же должны будем — опять к тому же вопросу возвращаюсь, да. Ну вот, значит, в эту комнатку должно втиснуться 40 человек. Вот кто туда зашёл, поместился, значит: десять, десять, десять, десять. На каждой наре 10 человек — если ты хочешь на спину лечь, ты должен соседу сказать: «Давай на спину, давай как-нибудь повернёмся». А так лежали только на боку, впритык друг к другу. Плотно впритык. Ну а утром, очень рано, сплошная тьма, это было 2 февраля — мы туда прибыли. Ехали мы в этих вагонах недели 3, может быть, 20 дней, может быть, 16 дней, потому что трудно было... Как-то темно было всё время, потому что в этих вагонах скотских нет окон, а только сверху, с каждой стороны, маленькие такие, величиной как лист А4, окошечки, чтобы для скотины как-то немножко свет проникал, чтобы корова отличала, настал день, будут её доить, или ночь, может она подремать ещё.

Ну а на следующее утро — абсолютно темно, ночь — истощенный крик в коридоре: «Подъём, подъём, стройся и пошли». Значит, не доброе утро, не умываться, не в туалет, и вот теперь, когда я сама стала старая, я только понимаю, как трудно же было старым женщинам. Мы-то молоденькие — ну, будем уже всё, откровенно, как говорится, называть — мы могли терпеть до вечера или там до какого-то удобного случая. А вот старые женщины, у которых эта система уже не так работает, как у молодых, это естественно, мышцы уже не держат, как же им трудно было? Кроме того, что у всех ревматические, старые, больные ноги. Ну вот, значит, идём, идём. По-видимому, это была окраина Березников, естественно, не центр. Что из себя Березники вообще представляют, как город, я до сих пор не знаю, потому что в центр нас никто не водил. Это где-то с краю, может быть, даже дальше края города было. И сразу в лес. Тропа, кто-то уже перед нами, отряд какой-то проходил, и вот мы приходим — лес, тайга, я так вот прикинула, метра два отойти друг от друга, и уже человека не видно. Значит, вековые сосны, может быть, там и ели, естественно, ночь была. И между ними подлесок, кустарники очень густые.

Поэтому дальше двух метров ты уже не знаешь, где ты, ты уже не ориентируешься. Дали всем пилы, топоры, кувалды. Мне достался лом. И вот я двумя ручками его хочу поднять, а не могу. Я была худенькой, конечно, очень, уже в дороге в депортацию мы голодали, уже эти недели ехали, и я не могу под страхом смерти сказать, что я ела. Так что сил было... Вот и помню очень хорошо: я его хочу двумя руками взять, я не знаю, что я им буду делать, но, во всяком случае, мне достался лом. Кому-то кирка, кому-то пила. И мастер в тулупе, в валенках шикарных, в таком малахае тёплом и, главное, в меховых рукавицах — у меня руки обморожены все были много раз. Вот как не ампутировали пальчики, ещё счастье.

Ну вот, началась наша работа — валить деревья. Задерёшь голову, а вершинки не видно, она теряется где-то почти в облаках. Вот её надо спилить, а это определённая наука. В какую сторону упадёт дерево. Настоящие дровосеки, профессиональные, они знают — если он отсюда начал пилить, если он хочет, чтобы дерево туда упало, он начинает здесь пилить, если хочет, чтоб туда упало, он начинает здесь пилить. Этой науки нам никто не преподнёс, только сказали: «Так, в 12 гудок, пойдёте на обед, полчаса обед, вернётесь, в восемь вечера гудок, сдать инструмент и обратно в барак». Вот это нам сказали. А что делать. Так мы начали работать. Куда упадёт это страшное дерево, оно тонны весило, мы не знали. А потом это спиленное дерево днями вдвоём — за один день мы не справлялись — вот мы мерили — вдвоём вот так возьмёмся за руки и с трудом обхватываем эту штуку. А пилы тупые, значит, мы вот так вот, весь день согнувшись. Она за одну ручку держит, я за другую ручку. За день мы не справлялись. Значит, на другой день продолжали. А самое главное, его потом нужно вытащить, это упавшее дерево, надо под него плечами встать и вынести его, там трактор какой-то проложил большую дорогу, трассу как-то освободил. Вот туда надо было дерево поднести, чтобы трейлеры, или как они назывались — трелёвщики, что ли, — они их потом железными скобами скрепляли и волокли, а мы должны были на плечах вынести его. И вот, 40 человек бригада, и все по росту должны были встать. Хульда, помню имя, но фамилию уже не помню. Высокая, красивая, здоровая крестьянская девочка, девushка с такими щеками. Она через несколько недель

превратилась в серую, страшную, больную старуху. Она должна была всегда под этот конец встать, по росту. А я самая маленькая. Чтоб оно на мне лежало, я же должна до него доставать, а если передо мной будет такая стоять, я же не достану. И всё равно мне доставалось. Доставалось. Я уж не хочу говорить тут вот подробности, каждая женщина, которая будет слушать, она поймет. Вот так мы работали.

В 12 обед. Что это был за обед. Огромное здание, крыша, я уж не помню, из чего стены. Жестяные, из тонкой жести миски с оловянной ложкой, и большой черпак тебе наливают, когда отстоишь в очереди. Грязная, вонючая и очень солёная вода, а в ней плавают хребты от селёдки. Вот из этих хребтов — по-видимому, мясо селёдки кто-то ел — а нам из этих хребтов суп. Или кочерыжки капустные плавали. И пайка хлеба. Пайка хлеба, рабочая пайка была 800 грамм. Но 800 грамм, это если бы это был хлеб из пшеницы или ржаной муки, а это был хлеб — там была и соломка, и картофельные очистки, и кто знает что. Поэтому калорийность, уже не говоря о вкусе, конечно, оставляла желать лучшего. Женщины были такие голодные, что они сразу за обедом съедали эту пайку. Пайка эта — как вы помните, может быть, было раньше такое хозяйственное мыло, такие куски тёмные, вот у меня даже есть ещё несколько таких старых кусков — как кусок мыла чёрного. Как камень прямо. Они её сразу съедали. А вечером была только опять миска этого супа. Хлеб уже один раз давали. И на сутки. Я вот с детства очень много знала о голоде в Поволжье. Есть такое выражение, «голодающий Поволжья». Это не просто так, шутка, потому что ещё при царе, давным-давно из-за этого тяжёлого континентального климата в Нижнем Поволжье, между Нижним Новгородом, Саратовом, и Астраханью, периодически были такие голодные годы, когда два-три года не было ни капли дождя, ну и так далее, я вам, по-моему, рассказывала уже. Поэтому я много от старых, от бабушек и от родителей о голоде слышала, последний голод я уже тоже пережила, 1933 год. В это время папа уже был всё-таки профессор, и они какой-то паёк там получали, поэтому я знала, что если у тебя очень мало еды, то её обязательно нужно разделить хотя бы на два раза, ни в коем случае не съедать всё за раз. Быстрее всех умирали от голода те, которые съедали всю

дневную норму свою за раз. Поэтому я этот кусок ломала пополам, половину за пазуху совала, а иначе не сохранишь, иначе украдут, куда его деть мне? За пазуху, и я в обед только половину съедала, а вечером к этой же миске воды солёной я вторую половинку съедала. Это было легче. А вот эти женщины, я всем говорила: женщины, вот так и так. Нет, нет, нет, нет, сразу, сразу. Они раньше меня начали даже вокруг столовой по помойкам лазить. А что там могло быть в помойках, если нам шелуху и скелеты от селёдки варили, что там могло для помойки-то остаться? И всё равно первая девочка, которую я на помойке увидела, Зоя Цваер, у неё были безумные глаза, и она рылась, рылась. И вот это брала всё на помойке и вот так. И они на глазах прямо стали... Я уже была бригадиром, потому что русский женщины не понимали, команды, распоряжения они не понимали. И когда надзиратель наш, татарин, красивый очень татарин был, его фамилия была Абдрахманов, заметил, что я русский знаю, он сказал: «Ты будешь бригадир». Моя функция и состояла в том, что я переводила женщинам. В конце концов, я дошла до такого состояния, когда никакие «давай» и никакие примкнутые штывки не могли меня заставить бы подняться и что-то делать. Это был уже конец 1943 года.

Началась зима 1943 года. А в первые годы что делало начальство? В 40 км от нас была мужская трудармия в Соликамске. Отец одной знакомой был юношей, чуть старше меня, кажется, он был в Соликамске. Да, он с 1920 года, а я с 1925-го. Он умер. Мужчины очень быстро умирали. Потому что у них были нормы. А мы могли одну сосну хоть неделю пилить, это никого не интересовало. Конечный продукт нашего труда никого не интересовал. Это было всё устроено ради истребления нас, ради мучения. Эту сосну могли бензопилой спилить за час, и результат, выход, как говорится, конечный, был бы тот же. А мы пилили по несколько дней. Но наш труд был абсолютно бесплатный, а цель — я же вам говорила, как один охранник там сказал: «Вас сюда привезли, чтобы вы тут сдохли, но перед этим, — говорит, — вы поработайте». Так что цель была не конечный продукт, а вот то, что выразил этот безграмотный мужик. И нам не давали норму, женщинам. Вот пять дней пили — тебе никто не сделает замечание. Главное, что ты 12 часов стоишь в лесу.

Мёрзнешь, надрываешься, все внутренности у тебя сдвинуты, что я узнала потом, когда наступило время. А мужчинам давали норму. Вот они земляные работы делали. Вырубить — а там же вечная мерзлота — вырубить, скажем, 8 кубометров грунта. Он этим ломом и киркой стучит, а земля отвечает железным звоном, потому что она такая же мёрзлая, как эта кирка, этот лом. Конечно, он эти 8 кубометров сегодня не вынул, и учётчик вечером измерил — у нас не проверяли, сколько мы тут распилили, а у мужчин метром померили — так, не выполнил, и завтра ему вместо 800 грамм хлеба давали 700. Отрезался кусочек карточки. Завтра он ещё слабее стал, послезавтра он 600 получил, и наступал момент, когда он получал инвалидские 200 грамм, ну и, конечно, умирал. Поэтому здоровые мужчины, молодые, стали, вот так сказать, похоронок. Похоронок не посылали, но из одних сёл же были люди, вот пишет он домой, своей жене, оставшейся дома с маленькими грудными детьми, что сосед наш такой-то умер, и так узнавали, что он умер. А никаких сообщений не было.

У нас не было нормы. Поэтому мы, как говорится, сторали, как свечки, уродовались, а не умирали, ну, по крайней мере, при мне никто не умер. Но состояние такое — полного анабиоза. Ну и вот, начались слухи, что тех, кто только хлеб получает, а уже ничего не делает, отпустят. Вот я помню, привели нас в лес в какой-то день... Там ещё две девочки-близнецы были, Оля и Альвина, фамилия Пель. Одна беленькая — Альвина, первое время прямо как кровь с молоком, говорят, личико и голубые глаза, а вторая чёрненькая и черноглазенькая. Сестрички. Вот они и я. Привели нас в очередной раз в лес, и мы сели, на корточках, или совсем сели. И вот у меня такое благостное чувство было. Думаю, как хорошо. И вот если бы в этот момент охранник бы надо мной стоял с винтовкой и кричал: «Давай, давай!» — я бы, наверное, только... Вот я чувствовала, что у меня на лице благостная улыбка. Ничто не могло меня заставить подняться и что-то делать. И тогда нас перевели — меня и вот этих двух девочек, ещё одну женщину, она, наверное, вообще больная была — нас перевели в слабосилку, к доходягам. Нас приводили на участок, и мы вот так сидели, до отбоя. И вот, пошли слухи осенью 1943 года, что таких, с которых пользы больше нет, будут

отпускать домой. Не домой, а туда, где остался кто-то из наших. Мы же все были ссыльные. Ещё зима вся прошла, а весной, вот вы прочли, наступил этот момент. И нас таких пять человек. Я не помню кто. Не помню. Потому что это была дорога как во сне. Вот как мы прибыли в конечный пункт, это будто бы нас какая-то сила туда привела, это же тысячи километров по чужой земле, по незнакомой. Теперь, значит, начнём с того момента, чем кончается эта статья.

Ну вот, прибыла я к маме в Чкалов. Мама жила с двумя семьями ссыльными в одной такой... ну, в таком помещении, я не могу даже сказать комнате. Тех коренных, которые уже пять лет жили, уже не было. Родителей забрали, вот как в первой семье, где мы были, а дети — кто знает, где эти дети были. Очень много замерзло детей. Они выходили и звали: «Мама, мама, мама». А буран — несколько минут, и тебя накрыло снегом, и буран кончается, и вот такая кучка остаётся, разгребёшь, а там замёрзший ребёночек. Вот мы с мамой писали друг другу, письма ходили, треугольнички. Как ни странно, без марок тогда всё это было. Значит, старушка с дочерью и женщина с маленькой девочкой, кажется, жили с мамой. Ну вот, я прибыла, вы читали, как я прибыла. Мама тогда милостынями жила. А какой милостыней? Не то что она ходила, просила — там некому было подать. Так что ты ходи, не ходи, тебе ничего не дадут, потому что людей не было. Но! В то время писать письма можно было, и разрешено было писать только на русском языке. Если ты напишешь на французском — извините, у нас нет переводчика французского, поэтому, если ты хочешь, чтобы твоё письмо дошло до адресата, ты должна писать по-русски. А население, как я вам говорила, это были поляки и немцы, которые ни читать, ни писать, ни говорить не могли. Они получали из трудармии от своих мужей, сыновей, дочерей треугольничек, написанный по-русски. А как его прочесть? Они уже знали, что мама — мама преподавала в молодости французский и немецкий, — знали, что она русский язык знает так же, как и немецкий. — «Прочти». Кто яичко принесёт, кто отрубей принесёт. А к отрубям мама водички добавляла и клала на плиту, на чугунную поверхность, они подсушиваются, и их можно грызть. Вот так она питалась. «Ну ты напиши, вот, напиши». Она, значит, напишет, опять кто-то что-то даст. У некоторых коровы были — она кружечку

молочка принесёт. Вот этим мама держалась. Иначе она бы умерла с голоду. Кто две картошки принесёт. У всех этих домиков, этих помещений, даже не могу их домом назвать, участочек у каждого был. Ну, понимало начальство всё-таки, что люди в первый же год с голоду все умрут, так они жили с этого участочка. Там картошку сажали, да и всё, пожалуй. Картошка там в основном самая урожайная. Вот так моя мама прожила.

И вот я приехала. У мамы был с собой взят времён юности серебряный будильничек швейцарской работы. Когда её старшая сестра, вот которая тут с младенцем сидит, тётя Эмма, была ещё гимназисткой, то они однажды — ну, это до революции, естественно — с их классной дамой ездили на экскурсию в Швейцарию. Тогда это было, наверное, очень возможно. И в качестве подарка своей младшей сестрёнке она привезла серебряный будильничек. Какой у него звон был, серебряные колокольчики, это потрясающе. И вот мы его взяли с собой, ну он же не тяжёлый. И прятали его, берегли пуще глаза. И несколько раз был такой момент, что мама думала: «Нет, вот теперь я должна его продать». А там было несколько ссыльных иранцев. Это экзотика, но там можно было встретить, вообще, кого угодно, ну только что, может, папуасов не было там с Огненной Земли. Вот, было несколько иранцев. У них в России до революции были фабрики, они были очень богатыми людьми. У нашего хорошего знакомого была конфетная фабрика шоколадная, вот как у Порошенко. А во время революции у него всё отняли, фабрику национализировали, семью он успел переправить в Иран. Ну а его арестовали уже пару десятков лет назад, он стариком стал, пока в ссылке там был. Но он понимал толк в вещах, и мама как-то в порыве была — вот уже ну всё, надо будильничек продавать, он посмотрел: «Ой, — говорит, — какая ценная вещь! Швейцарская, это же швейцарская!» Мама говорит: «Нет, нет, нет. Вот если дочка вернётся, вот только тогда». Ну и, конечно, она тут схватила будильник и помчалась к нему. Он ей дал ведро пшеницы. А там в каждом доме была ручная мельница, вот такие примерно жернова, это каждый мужчина уже сделал, потому что мешков с зерном не было, а была горсточка, и чтобы можно было дома муку смолоть. И вот этим она меня начала кормить, и кто-то ей из женщин ещё дал

немножко картошки, и вот она меня кормила. Я съедала миску картошки и оглядывалась, а нет ли у мамы там ещё.

Ну а потом я говорю: «Мама, ну мне же надо учиться». К июню я уже немножко окрепла. В апреле я вернулась, а это был уже июнь. Значит, я уже 3 года не училась. Мне бы уже окончить школу надо было в 1943-м, а это 1944 год. Мама говорит: «Ты знаешь, сейчас директор школы какой-то очень хороший человек, его так хвалят, фамилия его Лившиц, ты пойди к нему». Ну и вот я, конечно, пошла. Одежды у нас никакой не было, всё это было, ну не будем уточнять, мелочи. Мы были оборванными, страшными существами. Я же говорю, всё время мне Диккенс вспоминается. Когда он описывает детей, которые на мусорных свалках Лондона жили. Вы Диккенса вообще знаете немножко? Это мой любимый писатель, вот он у меня стоит, все 30 томов. Я то и дело любой том вынимаю, хотя читано всё, открываю на любой странице и так застываю, пока ноги не говорят — сядь. И вот у него несколько вещей о бедноте, вообще о бедноте. И как там эти дети на мусорных горах жили просто. Грелись на этом мусоре, который гнил и выделял тепло, и питались чем-то. Вот так мы выглядели. Я пошла к директору. Лившиц Ошар Абрамович его звали, он по национальности был еврей, он воевал, был ранен, родом из Ростова. А поскольку Ростов был абсолютно сровнён с землёй, он переходил из рук в руки, из рук в руки, то вернуться не к кому и некуда было. Он, конечно, не солдат был, а по-видимому всё-таки в должности офицера, потому что он высшее образование имел, я не помню, кто он по специальности, узкая специальность была, образованный, интеллигентный человек. И вот этих раненых отправляли в глубокий тыл, в деревни, на иждивение колхоза. Колхоз выделял им какое-то количество пищи, и вот этих бездомных солдатиков раненых и офицеров, у которых семьи погибли или на оккупированной территории оставались, их вот по колхозам распределяли. И вот так и он. Но он даже был с женой, а жена его была врач, Ольга Анисимовна. Она была под своей фамилией, Плетницкая её фамилия была. Она в больничке работала. И мама с ней была хорошо знакома. Ну, мама — интеллигентный человек, поэтому, когда врач видела, что такая интеллигентная женщина в таком безумном нищенском состоянии находится, всё старалась

как-то её поддержать. И вот я пришла к этому Ошару Абрамовичу. Я говорю: «Ошар Абрамович, так и так, взяла свой табель за восьмой класс», — а я отличница, естественно, была всегда. Я говорю: «Вот такова история. Окончила в 1941 году восемь классов, а в девятом мне не удалось уже учиться, потому что не было девятого, а потом меня в трудовую армию забрали. Вот, я вернулась». Он говорит: «Да, я знаю, мне жена рассказывала».

Я говорю: «Помогите мне, мне нужно школу окончить как минимум, я же должна учиться». Мы же надеялись, нас ссылали, чтобы мы молчали, не бунтовали, да и кто бы бунтовал. «Это только на время войны. Как война закончится, вы сразу же вернётесь». Куда? Когда наши квартиры, дома, всё уже было занято. Всё имущество растрчено. Я говорю: «Мне нужно хотя бы школу окончить». Он говорит: «Ну, десятого класса у нас не будет в этом году опять, нет учеников, и девятого, видно, не будет». Я говорю: «А может, я могла бы за девятый класс всё сдать, я знаю материал». Сестра у меня на 3 года старше, она уже в институте была, а учебники в то время не переиздавались, как сейчас, и каждый год новые учебники родители должны были покупать. Там был учебник Киселёва, по которому мой дедушка ещё учился, потом мой отец учился, сестра старшая училась, и я училась по Киселёву. И я всегда учебники своей сестры за лето изучала, и они у меня с собой были, я могла за девятый класс всё, все предметы сдать. Он говорит: «Да что ты? Не может быть!» Он так хорошо ко мне отнёсся! Он говорит: «Но там же не только математика, там же все предметы». Я говорю: «Все предметы. Дайте мне три дня». Ну, поверил он или нет, во всяком случае, через три дня я пришла, у меня был учебник литературы, химия, физика за девятый класс — всё было. Я ещё немножко посмотрела. Литературу я знала — мы столько читали в нашей семье, вот у меня сын потом, когда уже сынишка был, с первого класса выигрывал все конкурсы книголюбов. До конца школы, до десятого класса. Были такие конкурсы книголюбов, устраивались всегда в конце учебного года. Ну, то есть кто больше прочёл. Всегда! Вот у меня папка, целая папка грамот, победитель конкурсов книголюбов.

Ну и вот, я через три дня пришла, и сидел ещё один в этом кабинетике, Григорий Семёнович Коган. Раненый, худой, но весёлый,

длинный, как дядя Стёпа. Он сразу: «Ну, Рио-Рита (я по документам Рита Шульмейстер была, по полному имени меня ещё никто не называл тогда), ну, Рио-Рита, давай». Он математик, оказывается, был. «Так, что у тебя тут?» Я говорю: «Ну вот, Рыбкина задачник, вот Киселёва учебник». — «Ну давай, вот я сейчас открою наугад Рыбкина, ткну наугад с закрытыми глазами пальцем, и вот эту задачу ты должна решить нам». О чём речь? Листок бумаги, бумага была в страшном дефиците. Я вам потом ещё расскажу. Ну, я без всякой подготовки стала решать. Тогда были пёрышки, пёрышки привязаны к старому карандашу ниткой. Макаешь в непроливашку и пишешь. Я сейчас правнуку подарила тетрадь свою с тех времён, её в музей надо было бы. Тетрадь сшита из кусков бумаги. Из свёклы делали чернила. Свёклу натирали, сажу из печки доставали, из трубы, примешивали, водички немножко — и получались фиолетово-рыжего цвета чернила. Такими чернилами моя тетрадь исписана. Решила. Он говорит: «Ну, это случайно, давай ещё раз». Значит, открывает, хохочет... И так же и остальное всё. Сдала экзамен экстерном по всем предметам. Написали мне табель, и Ошар Абрамович говорит: «Ты понимаешь, экстерном мы не имеем права, как-нибудь я тут проведу тебя по ведомости, что ты девятый класс окончила. Но десятого, — говорит, — у нас нет (а десятый ввели в аттестат зрелости в тот год), так что тут уж табель я тебе не могу дать. Ты должна хоть немножко в какую-то школу походить. За столько-то километров есть посёлок, Донецк называется. Тоже ссыльный. И там, я знаю, будет десятый класс и там 4 кандидата на десятый класс уже есть, и ты будешь пятая, но ты должна в тот посёлок пойти».

В общем, мы с мамой решили, что как-нибудь дальше проживём, она уже письмами зарабатывала себе что-то. Карточек у нас как не было, так и не было, конечно. Ну, в общем, уже после всего, что у меня позади было, мне уже не страшно было. Надо было километров 20 идти — не так далеко, так что я пешком вполне укладывалась. Ну, не каждый день, я там у одной старушки жила, у которой дочь сидела в тюрьме за «пять колосков», а эта старушка с её маленьким, годика два с половиной, мальчиком. Вы знаете, был такой указ, за пять колосков — это расхищение социалистического имущества называлось. Вы точно знаете?

ЖК: Да, я знаю точно.

МК: И вот если женщина, которая на току работает, горсточку зерна себе в штанишки насыпала, чтобы дома это смолоть и сварить ребёнку кашку — 10 лет. Дочь этой старушки отсиживала 10 лет, а она с этим маленьким мальчиком меня пустила жить без всякого. Это всё стандартные посёлки были. У неё там в конюшне, в хлеву, коровы не было, конечно. А вот, наверное, какие-то куры были. И главное, этот маленький огородик. Старушка иногда варит себе похлёбку и ребёнку, мне налёт. Я окончила десятый класс, получила аттестат зрелости. И получала я его не там в Донецке, эта школа не имела права выдачи аттестатов, потому что крошечная деревушка была, а получала в Чкалове. В районном центре, где мама была. Получила аттестат зрелости.

Война закончилась. А нас закрепили навечно. Комендатуру ввели. Так что ехать куда-то учиться — об этом речи нет. А директором был уже другой человек. И вот я пришла когда за этим аттестатом, они мне аттестат выдали. Нет, Ошар Абрамович ещё был, он как раз сдавал дела, да. И он мне говорит: «Риточка, а что же ты теперь будешь делать дальше-то?» Они уже с женой уезжали, Ростов освобождён был. Он же увидел, что я очень способная девочка, естественно. И ходя эти 20 км, голодная, я всё-таки окончила. Я говорю: «Ну, наверное, в колхоз пойду работать».

Он так переживал! Он всей душой вот... Смотрите, Женя, я девочка-немка, которую только фашисткой называли русские и казахи, он еврей, 6 миллионов евреев истребил Гитлер, немец тоже. И поэтому люди всю эту ненависть к Гитлеру переносили на нас, хотя мы, немцы России, мы страдали — ну только что нас в газовую камеру не помещали, но нас мучили в трудармии так же, равносильно тому, как Гитлер мучил евреев. И вот, Ошар Абрамович — еврей, но настолько гуманный, умный, нормальный человек, что немецкой девочке такую услугу на всю жизнь оказал. Он мне дал возможность школу окончить, и мало того, когда он уже уезжает, а я с желанным аттестатом стою, а дальше не могу учиться, он говорит: «Что ж ты будешь делать?» Ну вот, я ему и ответила, что в колхоз пойду, наверное. Потому что никаких других возможностей нет. Он посидел и говорит: «А знаешь что? Я тебя возьму учительницей начальных

классов». Я говорю: «Ну что вы! Я же не знаю, как учительницей работать». Он говорит: «Да всё ты сможешь, я же наблюдаю, вижу, что ты всё можешь. Тебе не надо в колхоз идти. Наступит время, и ты сможешь учиться, а пока поработай учительницей».

И вот, наступает момент, когда мне заводят трудовую книжку, 23 августа 1945 года. Вот я в 1945 году окончила школу. «Назначить учительницей начальных классов, Чкаловская средняя школа». Печать. Судьба. Этот человек и этот весёлый Григорий Семенович Коган, который тыкал с закрытыми глазами в задачи, они мне спасли жизнь. Если бы я в том состоянии в колхоз пошла, ну представляете?

Работаю, проработала год. Всё получалось, всё удавалось. Только бесконечная жалость к этим детям, это всё были в основном брошенные детки, у которых мама и папа в трудармии, кто уже погиб, кто ещё жил. Беспризорные, голодные, без книжек, без... какие там тетради были, в лицо не видели. Найдёшь газету старую, берёшь её, эту газету, вот так, и поперёк строчек пишешь свекольными чернилами. Ну а когда кончился учебный год, 1946 год уже, а нас и не собираются никуда отпускать. Я уже зарплату получала, 35 рублей в месяц зарплата, а самое главное, я теперь официально получала карточку хлебную. На себя, за интеллигентный труд — 400 грамм, наверное, а может 500, и 200 грамм на маму. Уже мы могли жить. И мы около вот этого помещения, в котором мы жили, вдоль дома две грядки картошки посадили даже. Так что уже хлеба каждый день был кусочек, и хлеб настоящий был, в колхозе пекли, ну и немножко картошки. 1946 год, а мы под комендатурой. И мы с мамой рассуждаем: мне уже 20 лет — учиться никаких перспектив, война закончилась, а нас не отпускают, всё-таки какую-то специальность надо иметь. Понимаете, у нас в семье настолько все образованные уже в третьем или четвёртом поколении были, что немыслимо даже было, что вдруг девочка, причём самая способная в семье, и останется без образования.

Ну и действительно, дали мне второй класс. Я два года работала, я вам показывала трудовую книжку, первую запись: «23 августа 1945 года назначить учительницей начальных классов».

Значит, прошёл уже 1946 год, начался 1947-й, а в то время мы ещё не ходили на отметку в комендатуру, как это было после — каждый

месяц в определённый день мы должны были отметиться в комендатуре. Поскольку эти посёлки были очень маленькие, коменданты просто нас видели всё время, и кругом степь на сотни километров, где тут спрячешься? И ни кустика. Так что на отметку мы не ходили, но, естественно, никто не решался бы там уйти куда-то, куда же уйдёшь, тебя в степи мороз схватит или волки схватят, далеко не убежишь, так что никто и не помышлял. Но тут слухи пошли, что... Во время войны билет на поезд нельзя было просто подойти и купить — надо было иметь литер, то есть разрешение на покупку билета. Поскольку полстраны были люди заключённые, ссыльные и ограниченные в передвижении, то билеты продавались только людям, которые имеют право передвигаться, перемещаться. А тут мы слышим среди наших ссыльных: вы знаете, вот, на станции видели, как подходят люди без всякого литера, покупают билет. И так прошло около года в таких слухах.... Ну, бесперспективно совершенно, нам ничего не объявляют, когда-то нам обещали, что только, мол, на время войны нас сошлют туда. Уже война 2 года как закончилась. Одно только стремление — надо же учиться, надо же как-то устроить свою жизнь, чтобы быть полезным обществу, и специальность какую-то получить. И в 1947 году начали мы очень вплотную интересоваться. Те уехали, эти уехали — куда уехали. Поскольку семьи были разорваны по всей Сибири, или, скажем, одна сестра в Восточном Казахстане, другая в Северном Казахстане. Вот решили — поеду-ка я к сестре в Восточный Казахстан или, там, к брату, или дяде. Как-то соединиться хотели люди, потому что легче ведь прожить тогда. А мы с мамой были совершенно одни! И мама такая больная, и я, в общем-то, без специальности. Сегодня меня держат учителем без диплома, а завтра скажут: «Иди-ка ты коров доить в колхоз».

Ну, короче говоря, в 1947 году, как это в песне поётся, были сборы недолги, потому что нечего было собирать. Те несколько тряпок, которые мы смогли с собой взять, давно вышли из употребления, из состояния употребления. Сестра моя, окончив институт театральный в Москве, ГИТИС, получила назначение — весь выпуск направили в Таганрог. Там во время войны театр был разрушен, труппа вся — кто погиб, кто уехал, и вот решили — как раз была какая-то годовщина Чехова, а Чехов из Таганрога ведь родом, и там детство

провёл — решили создать в Таганроге новый театр, и весь выпуск театрального института отправили туда, и вот она уже 2 года работала там актрисой в театре. Вот её фотография в одной из ролей, в какой-то горьковской, кажется, в «Мещанах», есть такая пьеса у Горького. Ну и мы, действительно, купили билет, поехали — пошли на станцию, где пешком, где подвезли нас, купили билет без всяких вопросов и разговоров. Ну, конечно, не плацкартный даже — тогда не было, по-моему, даже плацкартных. Короче, сколько поместится в вагон, столько и забирались. Кто первый, кто посильнее, у кого локти получше работают — забрались и уехали к сестре в Таганрог.

Самое интересное, что я-то дома паспорт не успела получить, в Саратове до войны. Там с 16 лет давали паспорт, а мне как раз исполнилось 16 лет, через неделю война началась, и тут как-то, по-видимому, не давали паспорта в это время. Значит, кто не успел получить, тот был без паспорта, так что я вообще была без паспорта. Мы пришли честно в милицию, рассказали, что мы приехали, вот это сестра моя, работает тут, она ещё носила нашу девичью фамилию тогда, Шульмейстер тоже была, и нам дали хлебные карточки. Никаких вопросов, люди, оказывается, там даже не знали, что у нас целый народ был депортирован. Мне дали паспорт, у мамы там прописку поставили, это в августе было 1947 года. Мы, конечно, в страшной тесноте жили, но счастливы и рады — мы долго не видели сестру, она нас, столько лет, и столько мы пережили тяжёлого, страшного. Поскольку я очень хорошо училась и, конечно, была, в общем-то, прирождённым математиком, то я хотела в Ленинградский университет поступить, на математическое отделение, и послала даже свои документы. И они, поскольку я на серебряную медаль окончила, есть там медаль или нет, они по аттестату смотрят, прислали мне приглашение, что я зачислена. А потом мы стали обсуждать, а на какие деньги? У сестры зарплата была в то время 80 рублей, актриса высшего разряда. А у нас с мамой вообще ничего. Ну, муж её демобилизовался из армии, но у него тоже зарплата в этом духе была. И мы решили, что мы никак не потянем, даже доехать до Ленинграда я не могу, а в Ленинграде же надо жить и питаться, а мы были голые, оборванные были, ну и решили, что я год чем-то тут займусь, поднакопим денег, подзаработаем, а потом поеду.

А в этом городке, в Таганроге, было три института: радиотехнический, учительский институт и третий институт был... а может, два только было? Наверное, два только было. Учительский институт — в то время, перед войной, и несколько лет после войны были так называемые учительские институты. Двухгодичный срок обучения, все факультеты были, но они давали право, диплом, преподавания в 5–7-х классах. Сейчас у нас восьмилетка — обязательное обучение, это где-то с 1960-х годов. А до войны и после войны, лет 20, была семилетка. Это было неоконченное образование, обязательное образование для всех. И вот этот учительский институт давал право преподавания в 5–7-х классах средней школы. Ну, и мы решили, надо же чем-то заняться, а поскольку я на математику хотела в университет ехать, то поступлю-ка я на годок и буду при этом чем-нибудь подрабатывать, а подрабатывать я начала сразу репетиторством. А на будущий год поеду. Меня приняли без всяких экзаменов, без всего, директор Можяев Александр Иванович — изумительный, потрясающий человек. Никаких вопросов не задали, а мы же были по психике уже к этому моменту ущербные люди. Мы боялись всего. Мы боялись людей. Боялись людей, потому что боялись, что нас спросят о чём-нибудь. О том, что нам будет пагубно. Ни о чём не спросили, он посмотрел мой аттестат и говорит: «Да что же ты уж историю не могла на пять сдать?» Ну, я промолчала, почему я её на пять не могла. А все остальные: пять, пять, пять. И я начала учиться. И изумительные преподаватели были. Это были преподаватели в основном из Ростовского университета, которым не простили, что они остались под оккупацией. Ростов был года три под оккупацией, так же как Таганрог. И когда освобождены были эти города от оккупации, то тем, кто работал — они преподавали в университете в Ростове во время оккупации, потому что функционировала учёба — их вот, в качестве такого маленького наказания, отправили в Таганрог. Это провинциальный, маленький, одноэтажный, очень симпатичный, красивый, приморский городок. Чудесный, просто чудесный. С трёх сторон море. Таганрог — это название «таган на рогу». Это такой выступ в море, в Азовское, и вот на самом конце мысика, на рогу, когда-то были сторожевые опорные пункты, при Петре ещё, которые жгли ночью костры, для того, чтобы

корабли ориентировались, что тут суша. И так этот Таган на рогу вырос в город постепенно и получился очень красивый, южный город. Все домики беленькие, все с садами.

И мне так понравилось, и я, конечно, отличницей была, получала повышенную стипендию. И когда первый курс окончила, даже речи не могло быть бросить сейчас это. И мы решили, что же бросать, через год я окончу, и у меня будет диплом, и смогу всегда прокормиться. В Ленинград поеду учиться, а благодаря диплому могу в вечерней школе преподавать и полностью себя содержать. Вполне разумное решение. Ну, в общем, и второй год проучилась. И прекрасные отношения, и ребята чудесные. А в январе 1949 года вдруг к нам пришли два товарища, как это говорится, и попросили наши паспорта. Проверка паспортов. Ну, мы дали наши паспорта, мы были прописаны и никаких... И они ушли, взяли паспорта и ушли. Месяца через 2 или 3 вернули паспорта, мы и не переживали, мы уже так привыкли теперь, что мы равноправные граждане стали, и радовались, в общем, жизни. И мама, как могла, по хозяйству помогала, чтобы и сестра, и я могли всецело заниматься своими делами, я учёбой, сестра работой. Муж её очень милый и ничуть не корил сестру, что вот такая тут родня явилась, иждивенцы. И вот 23 мая 1949 года я сдала последний курсовой экзамен, всё на пять, естественно. Уже распределение состоялось, в апреле уже распределения мы получили, у меня распределение было в среднюю школу, в один из районов Ростовской области. Я прибежала, первая сдала, чтобы скорей домой, вся домашняя работа, конечно, на мне была, сестру-то мы жалели такими работами занимать. И в этот момент пришли и арестовали нас с мамой. Да, а паспорта нам потом принесли, где-то в марте, так что мы с паспортами жили.

Оказывается, история с паспортами была просто подготовкой. Мы потом узнали, что в ноябре 1948 года Сталин подписал указ. Вот, скажем у меня сестра замужем за немцем, значит, если бы я была ребёнком, мама бы сказала: «Эльза, приезжай, заведи сестрёнку, и пусть она у тебя будет». И так очень многие своих детей отправили к старшим сёстрам, замужним за немцами, или там к тётям каким-нибудь... Браки же между русскими и немцами были сплошь и рядом, поэтому одна сестра в ссылке, другая сестра

дома — были такие варианты. И вот Сталин подписал указ: за побег с места поселения — 25 лет каторжных лагерей без суда, без следствия. Сбежал с места поселения, нет тебя там — всё, никакого следствия, никакого суда, вопрос ясен правительству, и для этого — так поговаривали — даже специальные каторжные лагеря построили в Новокузнецке и Воркуте. Что такое Воркута, увы, многие советские граждане знают. Это страшное место. Кстати, там были основные лагеря немецких военнопленных, которых судили советским судом за военные преступления. Были просто пленные, они сидели в плену бессрочно, не зная своей судьбы. А эти уже осуждались на 25 лет, они знали, что, если выживешь, через 25 лет, возможно, придёшь домой. А мы же этого закона не знали, но у нас есть такой тезис, что незнание закона ещё не есть оправдание для совершения преступления.

Арестовали нас, значит, в чём мы есть — лето было, май, в Таганроге это уже абсолютное лето. В чём есть. Мама как раз незадолго до этого руку сломала, тоже ещё не совсем здорова была. Ну, кто об этом спрашивает. И вот начался наш путь. В общем, забегая вперёд, я скажу — нам повезло, нас вернули на место ссылки, значит, такие варианты всё-таки были. Как мы потом в дороге узнали, было очень много молодых беременных женщин. Отправили девочку к сестре, она уже подросла, ей 20 лет, вышла замуж за парня русского или украинца, и или она беременная, или она с новорождённым. И вот ей грозили два варианта: или 25 лет лагерей концентрационных, усиленный режим это называлось, или возврат на место поселения. Мама была уже старенькая, поэтому нам, можно считать, повезло. Но нам ничего не объявляли. Абсолютно ничего. Так что мы провели так июль — февраль, месяцев восемь, в дороге, но мы не знали, едем мы в лагерь или нет. Да мы и об этом законе не знали, мы его узнали, только когда мы уже в тюрьме были. Ну вот. Это называется этап. Мы знали об этапах, читали книги о старых бунтарях в царское время, которые этапом шли в Сибирь, звон кандалов по Владимирской дороге. Даже песни какие-то, стихи есть на этот счёт, как, звеня кандалами, эти политкаторжане шли. Вот это этап. И мы, значит, тоже этапом пошли. Раньше, при царе, они шли пешком, а в наше цивилизованное время уже несколько облегчённый

вариант этапа был. Значит, привезли нас на телеге — в Таганроге, видимо, не было машины по бедности — в тюрьму таганрогскую. Там, значит, обыск — конечно, шпильки все вынули, трусики сняли, просмотрели. Вот такое знакомство с тюрьмой. Приседание сделать заставили, мама моя с трудом это сделала. Я сразу поняла, я ж всё-таки физик уже была к этому времени дипломированный, я говорю: «Мама, они подозревают, что если ты присядешь без трусиков, там атомная бомба выпадет у тебя. И вот они хотят это предотвратить, диверсию».

ЖК: То есть вы шутили ещё так?

МК: Ну а что делать? Маму поддержать надо было. И мы там вот узнали об этом законе ноября 1948 года, мы подписались — каждый должен был подписаться, что с законом ознакомлен. Так что уже второй раз, так сказать, не побежишь никуда. Мы несколько дней только в Таганрогской тюрьме были, камера там предварительная, прежде чем распределяют по остальным камерам, это вроде изолятора, вдруг там какая эпидемия. И в этой камере битком было набито проститутками. Они ходили по камере голые, и такие у них были надписи на всех частях тела, что если ты человек любознательный, то ты даже несколько можешь что-то познать новое. А познание жизни — это всегда, в общем-то, положительное явление. Ну, я уж вам не буду приводить такие классические примеры, неудобно как-то. Но замечательные, остроумные, потрясающе остроумные были рисунки, сопровождаемые подписями. Здорово. Ну и, конечно, поведение.

Потом нас отвезли в Ростов поездом, там час езды до Ростова. В ростовской тюрьме мы, наверно, дней десять пробыли, а может, и две недели. И как раз в это время какой-то праздник был. И вот это всё тоже надо знать — вызывали, вытаскивали каждого в отдельности из камеры и смотрели, в чём ты одет. А на мне как раз было такое платьице, ну в чём была, в том и пошла в тюрьму, красненькое платьице, тогда короткие носили, в складочку. — «Снять!» Я говорю: «Да как же я буду, у меня другого нет». — «Разговорчики!» Сами понимаете. Не салон мадам Шерер из «Войны и мира». Читали «Войну и мир»? Естественно. Я не полностью читала. Когда в 9-м классе это надо было читать, то я экстерном всё сдавала за 9-й класс.

Так что «Войну и мир» до сих пор полностью не прочла. Отдельные эпизоды знаю, что салон мадам Шерер был. Сняла. А тут трусики, больше ничего. А потом у меня с собой была кофточка вязаная, я думаю, хоть её накину. И этот охранник взглянул в глазок, видно, на всякий случай, на контроль, и видит, я в этой красной кофточке. Тоже снять. Через 2 дня получили обратно. Оказывается — у заключённых не должно быть никаких тряпок красного цвета. А вдруг мы через какую-нибудь щель помахаем красным. Что от этого произойдёт, не знаю, я не вникала. Короче, вернули через 2 дня.

Потом поезд и столыпинский вагон. Едем. Что такое столыпинский вагон? Купейный вагон, знаете что такое, да? Причём ведь не было с собой ни мыла, ни полотенца, ну... не первый раз. Столыпинский вагон — вот это купейный вагон, проход, по которому мы идём. А тут купе. Купе эти же отделения, но эта стена вся, в которой двери, и мы входим в купе, закрываем за собой дверь, и мы закрыты, эта стена вся — густая решётка, и в ней такие же решётчатые двери. Охрана, которая ходит по проходу, всё время нас видит, всех. А эти окна в коридоре, густая решётка тоже на них. Вот это столыпинский вагон. Утром в 6 часов начинают в туалет водить, по одной, по одному отсеку. В таком отсеке было 6 человек. Внизу, на средней полке и на багажных. И вечером в 6 часов. Что-то давали, по-видимому, еду, ну в основном это были, вот как в трудармии, я вам говорила — вода, а в ней скелет селёдки. Сколько этих скелетов селёдок! У нас, в нашем отсеке было очень интересное знакомство, мы потом такими друзьями стали, старушка-гречанка, Анфиса Алексеевна. Милая, интеллигентная. Дочь её, Мария, и её сыночек пятилетний, Коля. Они тоже, как и мы, эта Анфиса Алексеевна с Марией. Греков тоже ссылали. Они жили где-то в районе Краснодара. Оказывается, их тоже ссылали. Пожили они в этой Сибири, намаялись ужасно, ну и тоже решили уехать. И за это время Маша там вышла замуж за какого-то русского парня, Колю родила, ну а потом их, извините, вот за это место и в этап. Значит, их было трое, нас двое, и кто-то ещё был. И преимущество было замечательное, потому что если была беременная в купе, будем называть его так деликатно, или ребёнок, то в туалет можно было ходить сколько угодно. Понимаете, это мелочь, казалось бы, а вот теперь, когда

я старый человек стала, раньше мне это в голову не приходило, 80 лет тому назад, а сейчас я об этом думаю, как трудно было старым людям! Им в туалет надо каждые полчаса ходить. Будем уже прямо вещи называть, это своего рода издевательство. А вот если был ребёнок в камере, значит, стучишь по этой решётке — ребёнок в туалет просится. Ну, одного непустишь, значит, кто-то из нас берёт его за руку, и охранник нас ведёт, и мы идём в туалет. Мелочь. И вот иногда в других купе, где только мужчины были старые, там мужские и женские были отдельно, слышишь: «Гражданин начальник, пусти в туалет, гражданин начальник». Просят уже слезами. А этот хохочет. Ну, в общем, это неприятно. Даже говорить не хочу. Издевались страшно.

Доехали, остановился поезд, как всегда, на высокой насыпи — и прыгай, на вокзалах же не останавливались, неудобно. Значит, где-то там, на высокой насыпи, за городом, за чертой города. Значит, оказались мы в Сталинграде. Дальше пешком. В Сталинградской тюрьме мы тоже недели две, может быть, пробыли. Потом опять таким же образом Саратовская тюрьма, потом Соль-Илецкая тюрьма около Оренбурга, который в то время Чкаловом назвался — вот это самая страшная тюрьма. Там никаких речей нет, конечно, о кроватях, там были во всю длину камеры — огромные камеры — нары и много-много соломы. Вот это мы сразу оценили, что соломы много и довольно свежая, что можно будет лежать. Ну и полна камера людей, так что все сведения узнали. Оказывается, эту тюрьму Екатерина Великая велела построить, когда было восстание Пугачёва. Ей нужно было много тюрем, и вот знатоки, которые уже тут долго были, говорили, что сколько над землёй, столько она и под землёй. Красное кирпичное здание, в то время как-то не было белого кирпича. И в Сталинграде тоже старая тюрьма — красный кирпич, и в Саратове тоже красная кирпичная тюрьма. И там, в общем, страшно строгий режим и прочее-прочее. Ну, тюрьма есть тюрьма. Две недели там, потом следующая, опять поезд, следующая Челябинск, после Челябинска — Курган. После Кургана — Петропавловск. И вот мы узнаём от людей в тюрьме, где мы, в каком мы городе. И вот, когда мы в Петропавловске уже оказались, я говорю: «Мама, кажется, нас просто возвращают в Кокчетав». Это Кокчетавская область была,

где мы были. А к этому времени Кокчетав из маленького казахского посёлка уже вырос и стал областным городом. Ну, саманные здания, конечно, но тем не менее. В Петропавловске тоже две недели, потом ехать, это, конечно, очень тяжело. Как мама выжила, как она вообще жива осталась, при её измученном уже здоровье! Это надо быть просто железным человеком, чтобы это... А я после трудармии истощённая и, в общем-то, тоже не ахти какая силачка. И в один прекрасный день выгружают — Кокчетав. Мы всё время ехали, попадали с греками. С Анфисой Алексеевной. Интеллигентные, ой, чудо просто! Это скрашивало нашу дорогу. А Мария была такая эксцентричная, энергичная, она обзывала охранников: «Мы-то выйдем из тюрьмы, а вот ты, — говорит, — всю жизнь будешь на оправку водить людей!» Вот так она им говорила. Молчали.

И вот в Кокчетаве нас два месяца держали, это не тюрьма, а КПЗ — камера предварительного заключения. Это здание, одноэтажное. Камера метров, я думаю, 12. Меньше, чем человек 25–26, нас не было. Полы просто, где мы сидели. Вытянуться, лечь нельзя было. В углу стояла параша, которую вечером выносили заключённые. А утром нас водили, это называется на оправку, я не знала, это новое слово. Видите, я чему-то всё-таки училась в дороге. Очень многому. Поэтому я сейчас без конца должна давать интервью и рассказывать так много, потому что многому научилась за жизнь. Очень много интересного, ну не то чтобы интересного, но познавательного. Ну вот, если бы при этом хоть бы чуть-чуть еды давали, так чтобы ты хотя бы человеческий облик сохранял, и помыться. Этого не было. Нет, вот, когда этап приходил в какую-то новую тюрьму, нам делали санобработку. То есть всё, что на тебе было, это в прожарку, грязное, но это прожаривалось, чтобы насекомых не было. Ну и минут на 10 давали воду, так можно было немножко там как-то так вот. Вот в этой камере можно было задержать, например, пьяницу и дня два его подержать. Два месяца мы там сидели. Мы сидели! Вот в этой вони страшной, и всё время прибывал народ. Так, в один прекрасный день открывается дверь, и заталкивают двух или трёх девочек, ну, может, им лет 17–18 было. И мы сразу увидели, что это что-то такое, в общем, это были дети... Вы знаете о том, что было «Ленинградское дело»? Кузнецов был первый секретарь обкома

партии ленинградского, его расстреляли, конечно, то есть обвинили верхушку Ленинграда в измене и прочее, и прочее. И вот на этом пути, когда уже их папы были расстреляны, оказываются семьи. Ну, жёны-то в лагеря попали, а девочек — в ссылку в разные дыры Сибири. И вот однажды появились эти девочки, они были одеты очень хорошо, по-видимому, они ускоренным темпом шли в этап, не успели так оборваться. Боже мой, мы смотрим на них, такие интеллигентные девочки! Думаю, Боже мой, что вам предстоит, бедные дети! Мне тогда уже 24 года было, между прочим, но я очень так выглядела как-то, косы у меня были хорошие, длинные, так что мне даже не давали моих лет. Они долго не задержались, эти девочки, их там дальше куда-то отправили. Был такой знаменитый джазист, руководитель джаза Эдди Рознер. Его жена тут была, он уже был в лагере в Хабаровске, а его жена тоже шла этапом. В общем, мы много людей повидали.

Очень много было беременных молодых девочек: немок, гречанок, чеченок, ингушей. Вот они так уехали к тётке, к дяде, к сестре, вышли замуж. В этап берут, если беременные женщины, то только после осмотра, должен тюремный врач обследовать и сказать, что у неё беременность меньше 7 месяцев, если беременность больше 7 месяцев её в дороге застаёт уже, её этап имеет право не принять. Тогда она должна отсиживаться в этой тюрьме очередной, пока не родит. И вот были многие, которые уже с лялечками, которые в тюрьме родились, сколько-то месяцев дают им там, немножко, этому младенцу, пару месяцев, и идёт в этап. Несколько было девочек — красавицы, крымские татары, их же тоже сослали в 1944 году. Была одна девочка, молодая женщина уже теперь, с мальчиком. Ой, какой красивый! Ему тогда, наверное, месяцев 6–7 было — красивый, кудрявый, черноглазый, такой живой. И вот ему негде ни поползать, ничего, и вот все мы его нянчили, все, чтоб ей хоть немножко рукам дать отдых, потому что он весь день вот так, вот так. Я уж не помню, было у неё молоко или нет, я только помню, однажды один охранник, татарин, принёс ей потихоньку и дал ей флакончик с молоком, видно, от своей коровы. В общем, это было вавилонское столпотворение. Кого только мы в этапе ни увидели. И все мы были не одиноки с мамой.

Ну и когда прошло 2 месяца, нас, значит, вызвали. Боже, какие мы были грязные! А мы с греками договорились — кто первый выйдет, ну, куда, мы должны были там снять какой-то угол у людей, не комнату, а угол. Кто первый выйдет, тот примет того, кто второй выйдет. Ну и действительно, очень быстро как-то их выпустили. Они сняли угол у женщины. Вот такая же саманная комната, помещение, она вдова была, муж погиб на фронте. Она, её кровать на этой стороне, а их кровать на этой стороне. И вот они все втроем в этой кровати. Ну и когда нас освободили, мы уже знали их адрес, посёлок-то небольшой, городишко. Дали они нам как-то знать. Ну и пришёл день, когда нас вызвали, подписали мы бумаги, что мы никому никогда ничего не расскажем, что мы видели, что слышали, мы ничего не знаем, мы не видели, не слышали, мы оглохли, ослепли. Всё это подписали, потом под указом ноября 1948 года подписались. Ну и, значит, отметка в комендатуре каждый месяц такого-то числа, значит, буква «Ш» такого-то числа отмечается.

Ну и в один солнечный, ясный, зимний день, 20 февраля 1950 года мы с мамой вышли из этого насквозь прогнившего, протухшего помещения. И потихоньку стали искать избу, где греки жили. Нам хозяйка разрешила 3 дня пожить тоже, как в Чкалове когда-то, за печуркой угол, туда набросала соломы, и вот там мы с мамой спали, а греки уже подыскали нам угол — у одних стариков был курятник, они его летом обмазали и как-то утеплили, сделали земляные полы, глиняные мазаные, и вот этот курятник они согласились нам сдавать при морозах в -55. Ну ничего, там печурка была. Ну и вот так мы, значит, вышли. Они дали нам умыться, и хозяйка греков, она уже нашу историю знала, а сестра моя прислала — это мы не могли с собой взять, иначе бы конфисковали — мой диплом. Когда греки освободились, мы им адрес сестры дали, они ей написали, и она на их адрес почтой прислала мой диплом. И это было наше спасение. Хозяйка говорит: «Ну, что теперь дальше?» Хорошая женщина была, довольно молодая ещё. «Ну, завтра пойду в ГорОНО работу просить». Она на меня смотрит: «А как же ты пойдёшь?» Дала мне валенки от погибшего мужа, они мне до бедра были, и дала мне синее шерстяное платье. «Вот, — говорит, — до первой зарплаты. Как ты в класс-то пойдёшь? Как ты

в школу пойдёшь?» Вот такие люди. А нас ведь привезли под маркой врагов. Фашистов привезли. Всё ещё фашисты. Хотя война уже закончилась 5 лет тому назад.

На следующий день я иду в ГорОНО, показываю диплом. Этот зав. ГорОНО за голову ухватился. Говорит: «Мы ищем, мы готовы любые условия создать! У нас нет математиков, нет физиков, никого нет». Сразу на 2 ставки. Школа № 4, это всё в трудовой книжке есть, вся летопись. Значит, 20 февраля нас выпустили, 21-го мы тут в себя приходили, а 22-го я уже стояла в классе и работала учителем. Вот так закончился этап. И мы выяснили, что этот городок, Кокчетав, по-казахски Кокшетау, полон такими же ссыльными. Было-то всего, наверное, четыре школы в этом городишке: одна начальная, одна казахская и две средние. И вот в этой школе, в которую меня направили, литературу преподавала женщина, была ли она профессор или доцент, не знаю, из Одессы, из Одесского университета. Литератор. Интеллигентная, представительная, ну и остальные предметники, там химик был, тоже с какими-то званиями. Короче, публика была, речь настоящая, хорошая русская речь. И я проработала в этой школе почти девять лет. На отметку ходили каждый месяц, иногда мама была так больна, что не могла пойти, и я приходила одна и говорила: «Вот мама...». Комендант, Полёткин его фамилия — прошло 70 лет, я помню его фамилию. Ну, он своё получил потом, — так кричал, так кричал, что мама не пришла. Я говорю: «Ну не может она прийти. Она лежит, она, может быть, уже умрёт, когда я приду домой». — «Я её, суку, заставлю каждый день ходить на отметку». Вот так с нами разговаривали.

ЖК: А в чём заключалась эта отметка?

МК: А вот что я здесь, что я не сбежала. Я должна расписаться за этот день, что я не сбежала ещё. Что я здесь, что все в куче.

ЖК: У него был какой-то журнал, где были ваши фамилии?

МК: А как же? Журнал, всё было на высшем уровне зафиксировано, они все были со звёздами и с большими пайками, и с зарплатами прекрасными. И они после войны, работая в тылу, унижая и угнетая таких, как Анфиса Алексеевна или моя мама, они все потом как участники Великой Отечественной войны числились. Они сидели и, извините, грели вот это место там.

За это время я вышла замуж. Я очень сильно заболела, надо было срочно на больничный идти — то ли пневмония была, то ли ещё чего. У меня, вообще-то, туберкулёз признавали в закрытой форме. Ну, рассосалось потом как-то всё-таки. И вот я тут познакомилась со своим мужем будущим, он тоже был ссыльный, он тоже отсидел как какой-то шпион. Там каждый день какие-то новые, скажем, сегодня японского шпиона тебе приписывают, завтра там немецкого шпиона. Вот из Патагонии ещё ни разу не слышала, чтобы кто-то был шпион. Знаете, где Патагония?

ЖК: В Америке?

МК: Самый конец Южной Америки, уже дальше Антарктика только, дальше ничего нет. Это Огненная Земля — Патагония. Там люди не живут. Мы поженились в 1951 году, родился наш сын через год, а тут — ну, соскучиться не приходится — в 1951 году началось «Дело врачей». Слышали про «Дело врачей»?

ЖК: Слышала, но мне интересно, как вы это расскажете дальше.

МК: В конце 1951 года, когда маразм Сталина уже дошёл до крайней точки, он стал подозревать всех врачей, особенно евреев, тут ведь в 1948 году было основано государство Израиль. Организация Объединённых Наций, наконец, постановила, что израильтяне, рассеянные по всему миру в 73 году после Рождества Христова, которые были рассеяны, изгнаны из своей страны и 2000 лет находились в изгнании во всех мыслимых государствах, наконец, получили своё. И с этого момента у Сталина началась мания, что врачи-евреи отравят его, хотят отравить. А как на грех все светила медицинские в Москве были еврейской национальности. Ну что теперь сделаешь? Академик такой-то, академик такой-то, профессор такой-то. И в 1951-м они были все арестованы, и последним был Рапопорт. Он был главный патологоанатом страны, то есть он получал клиентов уже мёртвыми, так что он отравить никого не мог. И он очень надеялся, что его-то уж не арестуют. А 13 января 1953 года его всё-таки арестовали и предъявили ему то же обвинение, что он готовил отравление Иосифа Виссарионовича Сталина. И готовилась показательная казнь этих врачей, это «Дело врачей» называется. Я не помню сколько, но человек 15 шло по этому делу. Все ранга академиков.

А мой муж был врач и тоже еврей, наполовину, мама его была полька, а отец еврей. И если в Москве шёл на таком высоком уровне этот процесс, то на местах должны были тоже прореагировать. На местах начали снимать всех мужчин врачей-евреев. И в газетах местных, в московской газете появилась статья «Убийцы в белых халатах». Это написала некая Тимошук, она тоже врач была, но это задание она партийное получила. В местных газетёшках, конечно, тоже — «Убийцы в белых халатах». А муж был единственный мужчина-врач. Не было учителей, не было врачей, надо было держать этих людей, использовать их. 4 февраля я вышла из роддома. И мужа снимают с работы. Мы ждали каждую ночь, естественно, что его тоже арестуют. Я с новорождённым ребёнком, а он даже не ложился спать — узелочек был собран, полотенце, зубная щётка, зубная паста, кусок мыла. Это называлось джентльменский набор. Он не ложился просто потому, что, если придут, чтобы скорее выйти, узелок взял и всё, чтобы хотя бы нас лишний раз тут... Ну, страшное время. К счастью, наступает 5 марта. Мы рыдали от радости, не только мы. Миллионы рыдали от радости. Это было, значит, в 1953 году. Ну, потом, сами знаете, конечно, нас не отпустили домой. Мы ещё 3 года ходили на отметку, и никакой перспективы, ничего. С большим трудом, я когда встала на ноги, прошло уже полгода, он без работы, муж. Хотя уже и всё сказано вроде, и всё выяснено, и культ, и то, сё — не восстанавливают, потому что, наверное, облздрав боялся, а вдруг воскреснет Иосиф Виссарионович и предъявит ему обвинение, зачем ты восстановил. Но восстановили в конце концов.

Дело в том, что жена первого секретаря обкома партии работала у нас в школе некоторое время биологом, очень коротко, я её визуально только знала, и у них было два мальчика. Ещё когда муж работал, эти мальчики с сопровождающими лицами поехали на охоту. Ну, юноши хотели поохотиться. И нечаянно один из них как-то надавил на курок так, что получил выстрел в голову. И пока из Алма-Аты специалисты летели на самолётах санитарной авиации, мой муж оказал ему первую помощь, то есть он его спас, сумел сохранить жизнь до того момента, когда его оперировать можно было, было кому оперировать. Муж не был хирургом, он был терапевтом,

но он сумел сохранить ему жизнь, как-то он там искусственную кому сделал, пока прилетели. И, конечно, жена первого секретаря обкома знала, что это мой муж был. Ну и вот, когда его никак не восстанавливали на работе, мы просто бедствовали, мы опять начали голодать, и ребёнок маленький, и я очень больная была. И я просто пошла к ней домой. И говорю — вот так и так. Она говорит: «Идите спокойно домой, всё будет в порядке». На следующее утро мужа вызвали и предложили ему вернуться на работу. Полгода он не работал.

Время шло, а мы на отметке, и мы не знаем, что нас ждёт, и жилья нет, углы снимаем, потому что просто нет таких домов, где можно жильё снять. Здесь угол, там угол. Тут какая-то старая кухня, там старый курятник. В 1956 году, в январе, через три года после смерти Сталина, нас вызывают и объявляют, что мы можем больше не ходить на отметку. Но что это означает? Можем ли мы уехать куда-то? Можем ли мы вернуться домой? Но дома-то нет, там уже чужие люди давно все, всё прожили, что они от нас унаследовали. Опять же не знаем, продолжаем жить, работаем, слава Богу. Кое-как живём, кое-как. Ведь это безумные условия. Воду на себе носишь, топливо доставать. Степь, никаких ресурсов топливных нет, значит. То солома, то кизяк, то где-то угли можно раздобыть. Очень тяжело. В общем, в 1957 году, 7 октября возвращается мой отец после 20 лет Колымы. Он-то был освобождён раньше из лагеря, он отсидел своё время давно, но поскольку он был немец, а немцы были закреплены — мы были здесь закреплены, он был там закреплён — он не мог раньше к нам приехать. В 1957 году ему разрешили, и он приехал к нам. А у меня на основании того, что я всё время на две ставки работала, произошёл паралич одной голосовой связки. Ну, столько говорить. И я не могла работать. То есть инвалидность. А муж за это время, пока вот это «Дело врачей» шло, перенёс 2 инфаркта уже и 2 инсульта. Он получил уже инвалидность, но из милосердия его продолжали держать на работе. Он был зав. отделением больницы, и его привозила скорая утром в больницу, он сидел за письменным столом, давал распоряжения, консультировал. Тут начала болеть мама, она уже лежала просто. Она потом и умерла быстро. То есть был такой момент, когда казалось — всё, выхода больше нет.

Это непрерывная череда надругательств над человеком, не только над его, так сказать, психикой, моральным его состоянием, а физически, никаких перспектив. Ну убейте уж нас, наконец, убейте нас уже. Один-то конец должен быть. Тут возвращается отец с полной реабилитацией, что он не шпион, не террорист, не что-то ещё, как в приговоре написано.

К этому времени нам уже объявили, что вы можете ездить, но ни в коем случае близко не появляться к месту, откуда вы сосланы, это уже исключено абсолютно. А вдруг мы приедем, постучимся в дверь своего дома, своей квартиры и скажем: «Ну-ка, пожили 17 лет в наших хоромах? Поиграли на нашем пианино? Почитали наши книжки? А теперь хватит». Нет, ни в коем случае. Ну и штуки 32 минуса. Я вам говорила, что нам оставались Тамбов, наверное, Пенза и что-нибудь в этом духе. Поэтому тут хоть работа какая-никакая — а если мы вдруг приедем, ссыльные, с такими характеристиками в ту же Пензу, скажут: «О, вы бывшие враги народа? Нет, нет, у нас нет вакансий, извините, вот, идите». Так что все остались на месте. И отец поехал сразу в Москву, получил все документы, восстановили. Но, конечно, в копиях. Диплом об окончании Петровско-Разумовской академии, профессорское удостоверение и прочее, и прочее. И говорит: «Я буду подавать на конкурс в какой-либо из сибирских институтов». В западную часть России мы не имеем права поехать, это как на вулкане, наступит момент — и всё, тут уже холодная война же в полном разгаре была. Говорит: «Первыми, кого будут наказывать, это нас, так что нам надо остаться в Сибири». И он подал в Красноярск, его, конечно, с радостью взяли, потому что в Сибири не было специалистов. Расстреляны все в основном, были в лагерях или погибли в лагерях. И мы в 1958 году все переехали в Красноярск. Через неделю после нашего переезда муж умер. Это был уже какой-то энный по счёту инфаркт, уже, конечно, сколько можно было выдерживать. 45 лет ему было. Мне 34. Нам дали очень хорошую квартиру. Боже, сколько же мы жили, 17 лет, с 1941 года, в скотских условиях — а тут квартира, с водой, с отоплением. Три комнаты, в самом центре, нормальные, человеческие условия.

Очень тяжёлый климат в Красноярске. Он лежит в долине, вот течёт Енисей, с обеих сторон высоченные горы, тайга, покрытые

лесами горы. И вот Красноярск лежит в этой долине. А Енисей же течёт с юга на север, и вот это ущелье, от Минусинска, от Шушенского, где Ленин-то в ссылке был (видели мы, каким помещиком он там обладал), тянется до самого Ледовитого океана. И получается аэродинамическая труба. То есть по этой трубе всё время дуют ветры. И поэтому там очень тяжёлый климат, и там очень много такой промышленности, которая сильно загрязняет воздух. Интересно, как-то форточка была открыта, и залетел воробушек. И, бедняга, от испуга искал выход и стал об стенку биться. И на стенке, там, где он бился об стенку, чёрное пятно, прямо вот будто горсть сажи бросили. И это всё мы вдыхали.

Мальчик начал болеть, и я без конца, долго лечили, восстановили эту связку. Но сказали — никакой нагрузки, чуть-чуть. Какое «чуть-чуть»? Надо же работать. Мы ж голые все были. Надо было каждому купить подушку, одеяло, кровать. Как минимум. Ничего же не было, всё отняли. Папа зав. кафедрой стал, значит, большая зарплата, но мы стали все болеть. И я начала: «Папа, ну давай попробуем, давай». И он говорит: «Нет, нет, говорит, я 20 лет отбыл на Колыме. Я не хочу больше». Но, в конце концов, всё-таки он увидел, что разоблачительный съезд КПСС прошёл, всё-таки Хрущёв уже на весь мир объявил, что это было преступление со стороны Сталина, со стороны Коммунистической партии, в 1956 году Хрущёв разоблачил «заговор» Молотова, Маленкова, кого-то с ними, примкнувшего к ним Шепилова, это министр иностранных дел был. Тогда столько анекдотов ходило: «Молотов, Маленков... кто же третий-то? Ворошилов что ли или Булганин, не помню... и примкнувший к ним Шепилов». Замечательный, между прочим, министр иностранных дел был. Ну, вот так он погорел с ними. Мы говорим: «Папа, ну ведь вот уже весь мир теперь знает, что это было преступление, что и дальше, может быть, пойдёт всё теперь вот». Мы там прожили в общей сложности 2,5 года. Из болезней не выходили. Это не жизнь была, это страшно. Это страшно. Мы всё время были в этой трубе. Мальчик болел, в больницу попал. И папа в 1960 году подал на конкурс — институты объявляют конкурсы — и получил место в Сталинграде, тогда ещё Сталинград был.

Насчёт прописки я вам рассказывала, что его тем не менее не прописывали там. Значит, он прошёл по конкурсу, получил звание кафедры, и в августе 1960 года должен был явиться на место работы. И он нам сказал, мне и маме: «Вы оставайтесь здесь. Здесь у нас крыша над головой, неизвестно, как будет. Вот, получу там квартиру...» Там же и квартиры пока нет, в Сталинграде. А Сталинград был очень разрушен, там был большой дефицит жилья, правда, его ускоренно очень восстанавливали, там пленные восстанавливали в основном. Так что и хорошо очень строили, красивый город. Он, конечно, был красивее, чем старый. Старый город был — купеческий, максимум двухэтажный городок. А построили там чудо-город просто. Ну вот, мы остались, папа уехал. Он приехал — первым делом надо прописаться. Ему дали в общежитии комнату, и он работал, питался там в студенческой столовой, подал документы на прописку, а ему отвечают, что не можем прописать, извините, у вас прошлое нежелательное. — «Я же реабилитирован». — «Ну, знаете...» Второй раз. В общем, в течение 6 месяцев его не прописывают. По закону тогдашнего времени, три дня можно было без прописки где-то жить. Конечно, мы ездили в отпуск — мы не прописывались, допустим, или в гости ездили — не прописывались, там, у тёти или у дяди в гостях, но закон был такой. Тем более ты не имел права получить работу без прописки. Но ректор даже не задумывался над этим — профессор прошёл конкурс, выбран на эту должность, а он даже не думал о прописке, а папа молчал. Он не хотел об этом говорить, тем более такой большой вопрос. Ну, в общем, когда он 6 месяцев прожил без прописки, он пошёл к ректору и говорит: «Я подаю заявление об уходе с работы по семейным обстоятельствам». — «В чём дело? Как это так? Мы только начали после...» Институт довольно молодой был и до войны не очень богат был кадрами, а после войны вообще. «Вы у нас единственный профессор с таким стажем, с такими знаниями, с таким опытом». Тогда папа сказал: «Я уже полгода живу без прописки, а это противозаконно. Я достаточно в жизни пережил от беззакония, и я не хочу больше рисковать». И тут ректор только узнал, что такая проблема есть. Ректор человек хороший оказался, он знал папу по его трудам до ареста ещё, он пошёл в обком партии и, к счастью, в этот момент

был очень славный человек, Школьников его фамилия. Вот хорошие люди на нашем пути как-то встречались всё-таки, не только выродки. И он вызвал: «Как, — говорит, — не прописывают профессора Шульмейстера? Я столько о нём уже слышал, столько знаю, и как это так? Не может быть». Но тем не менее это так было. Он тут же кнопочку нажал, вызвал помощника, говорит: «Вот так, 3 дня — чтобы у профессора была прописка, чтобы у профессора была квартира, ордер на квартиру и ключ от квартиры, чтобы он вызвал семью. Через 3 дня доложите». И в этот же день к папе приехали: «Дайте, пожалуйста, ваш паспорт, мы вас пропишем». Сами прописали. На следующий день помощник приехал: «Константин Георгиевич, пожалуйста, в машину, я приехал за вами, пойдёмте, поедёмте... (институт был на окраине города, а квартира наша будущая была в самом центре, около обкома партии прямо, не около, а вот так вот визави, пожалуйста, правильно сказать) квартиру смотреть». И папа потом нам уже рассказывал, что когда открыл ключом эту пустую квартиру и начал считать: раз, два, три, четыре... А мы говорили папе, когда он уезжал: «Папа, ну ты хоть проси двухкомнатную, чтоб я с Борей, с мальчиком, была, а вы там уж с мамой как-то». Четыре комнаты, коридор — в футбол играть. Он говорит: «Нет, — папа говорит, — я эту квартиру не возьму. Нет, нет, нет. Это не для меня, это не для нас, мы не привыкли». Ну, папа боялся. Папа всего боялся, естественно, хотя, в общем, очень мужественный человек был. Но после всех унижений, ведь всё-таки уже 23 года прошло, как он стал, ну, что ли, отверженным. Что уж там эти «Отверженные» Гюго, над которыми мы в детстве плакали? Когда сами такими отверженными стали. Помощник говорит: «Константин Георгиевич, я должен самому (это тогда называлось первый секретарь обкома — самому, сам) доложить, завтра последний день, я должен доложить, что вы прописаны в этой квартире и т.д.». Ну, в общем, уговорил, всучил ключ, взял опять же ордер, опять папин паспорт, прописал его по этому адресу, говорит: «Вызывайте семью».

Папа уехал в августе 1960-го, а мы приехали в феврале 1961-го. Вот так закончилась наша эпопея. Но отношение людей в Сталинграде мы до последнего чувствовали, отвратительное. Вот такой пример. Понимаете, Сталинград носил имя Сталина. Поэтому

население города подбиралось самое-самое-самое. Самые доверенные и проверенные. Вот, например, все отставные генералы или другие высшие чины военные, идя в отставку, имели право получить в любом городе квартиру, так по закону. Ну, правильно, они же всю жизнь прожили, в армии были, туда-сюда, куда пошлют. А теперь на покое они должны квартиру получить, поэтому старались в основном в Сталинграде дать квартиру отставникам, партийным и военным заслуженным людям. И вдруг появляется такая фамилия, такая цветистая фамилия, от которой у всех сразу начинают глаза на лоб лезть. Я в школу сразу, правда, устроилась, можно сказать, в тот же день, так же как и в Кокчетаве. Математики и физики — их всегда был дефицит. Но отношение было очень...

Пример приведу. Очень печальный. Но с этой печалью мы уже привыкли жить. Первый день рождения. Папа — зав. кафедрой. Кафедра там человек 12, наверное, пара доцентов, молодые какие-то люди, один даже, по-моему, был доктор, один сотрудник... Ну, в общем, человек 12 научных работников на кафедре. И через 4 месяца после того, как мы уже переехали, обзавелись хозяйством и решили, что на первый папин день рождения мы пригласим кафедру, его сотрудников для знакомства, чтобы они в домашней обстановке познакомились. Папа всех пригласил — а у папы день рождения 29 апреля, кстати, в этот же день, 29 апреля, его и трибунал судил, вот приговор 29 апреля. Вот мы с мамой столько наготовили, мы стол разложили, накрыли, к этому времени мы всё-таки уже всё имели, что нужно, так сказать, для приличного облика. Ни один человек не пришёл. Мы сидели, ждали у богато накрытого стола, и ни звонка. Им каждый день работать вместе, встречаться глаз в глаз. И никто не набрался мужества позвонить: «Константин Георгиевич, мы все дружно заболели дизентерией, мы не можем прийти». Никто не нашёл в себе этого мужества. Вот настолько презирали нас, что за наш стол не хотели прийти. Это был нам хороший урок. Мы поняли, что нас не примет никто здесь, и мы одни... Мы себя свободнее в отношении общения с людьми чувствовали в коллективе ссыльных людей в Кокчетаве, чем в свободном городе. Этого уже достаточно, не нужно остальных примеров. Мы оставались врагами. Я всю жизнь помню, как ещё в Чкалове — это первое село, куда

мы с мамой на тракторе приехали, — был один человек, он, по-моему, поляк был. Он, наверное, маленький срок имел. В общем, году в 1944-м или 1945-м он уже освободился и в этот пункт на вечную ссылку приехал, прибыл. И когда он там что-то такое в комендатуре сказал вроде: «Я же свободный человек, я же отсидел вроде наказание своё». А ему сказал начальник тогда: «Ты запомни, неважно, что ты освободился, отсидел, ты запомни — всю жизнь на твоей спине будет написана цифра 58». Всё. Точка. С этим человеком покончено навсегда. И мы поняли, что всю жизнь у нас на спине написана цифра 58.

Папе очень трудно было работать. Трудно в смысле вот так. Мне тоже было трудно в школе. Хотя меня обожали дети, обожали родители. Самые большие букеты на праздниках, это все даже констатировали, конечно, с большой долей зависти, это были мои букеты, но дружбы... Там, в Волгограде, мы прожили 38 лет, папа проработал 38 лет там, я, соответственно, тоже, но у нас не было ни одной семьи, с которой... Несколько семей было еврейских, которые нас принимали как друзей, а русские нет. И был момент в 1972 году уже, после того, как папа уже 12 лет там проработал. И сколько он докторов и аспирантов выпустил, и всех успешно. Это всё было. А вот человеческого контакта не было. И вот в 1972 году было особенно что-то тяжело. И он как-то пришёл и говорит: «А не уехать ли нам с тобой (мама-то уже умерла в это время), а не уехать ли нам с тобой в Сибирь? Как хорошо я в институте работал в Красноярске 2 года». Там были потомки декабристов, там даже некоторые были фамилии, Трубецкой даже, представляете? И всё это, конечно, были люди, которые не гнушались нами. А в Сталинграде гнушались. Хотя, в общем-то, всё было бы хорошо. Но тем не менее вот этот КГБист в Чкалове как в воду смотрел. Цифра 58 написана на спине всю жизнь.

В 1995 году папа ещё работал, когда пенсионный возраст наступил, он сказал ректору: «Я не хочу на пенсию уходить, я могу бесплатно. Если вы не можете мне платить зарплату, я буду бесплатно работать. Но оставьте меня». К этому времени уже был другой ректор, и немножко всё-таки полегче было. Так что он работал... И приближался 1995 год, столетие его, он последнего аспиранта

в 1992-м выпустил, Павлика Смутнина, до сих пор перезваниваемся. Он иногда звонит. Он уже готовится к пенсии, последний аспирант папин был. Очень много папа ездил, его приглашали председателем ГЭКа — государственной экзаменационной комиссии. Очень много оппонентом на защиты приглашали в другие города. Так что очень активно папа работал. Ну а то, что глупые недалёкие люди встречаются, мы так с ним рассуждали — не будем уже жизнь свою портить из-за того, что такие люди есть, которые нас до сих пор считают фашистами и прочее. И вот, когда приближалось его 100-летие, я уже думала: «Ой, как же это отметить, как же это отметить?» А губернатором в это время был изумительный человек, Шабунин Иван Петрович, какой человек! Его жена работала по тому же профилю, что папа, по генетике, и он был её руководителем, она докторскую защищала. Так что они очень так хорошо папу знали, ценили. Вот есть люди, которые не были заражены этим шовинизмом ужасным. Он, заранее, ну не сам, конечно, губернатор же, через своих подчинённых, велел мне передать, что он, как губернатор, полностью берёт юбилей Константина Георгиевича на себя. Чтобы я, как говорится, не беспокоилась. И действительно. Потрясающе. 240 приглашённых, из Академии наук, из Москвы приглашённые были. Конечно, все его бывшие многочисленные кандидаты и доктора. Полностью всё областное правительство организовало, оплатило. А он передал: «Скажите Маргарите Константиновне, её дело только привезти Константина Георгиевича. Зная его скромность, он ещё вдруг не захочет прийти». Отпраздновали юбилей, и до этого он всё-таки посодествовал, чтобы папе дали два ордена: Орден Трудового Красного Знамени, всё-таки такой, заслуженный, после Ордена Ленина это первый. Ещё орден Знак Почёта. Но папа это воспринимал всё с известной долей печального юмора. Он говорил: «Всё это мне полагалось бы 60 лет тому назад, а не к 100-летию». Он абсолютно был лишён какого-либо тщеславия. Он мог, он согласен был вообще работать бесплатно, лишь бы ему давали работать. Это был ярко выраженный трудоголик. Только для науки. И празднование было такое — элементарное празднование, со столами, речами и прочим, а потом через 2 недели празднование, как научная конференция по поводу 100-летия. Тут уже доклады были хорошие

научные и т.д. Сестра приезжала, сын мой из Ленинграда со своим старшим сыном приезжал.

Ну а через 8 месяцев папа, сидя за письменным столом, писал очередной отзыв на докторскую диссертацию, где он должен был быть оппонентом. Написал, напечатал, запечатал в конверт, написал адрес, а потом говорит мне: «Что-то мне так нехорошо». Я говорю: «Ну так я тебя сколько уже зову? Обедать пора». В 8 часов он утром садится за стол, а уже 3 часа дня. Он так посмотрел на меня и умер. За письменным столом, ручка в руке, очки на носу. Это было 7 января, в день Рождества. Старые люди, верующие, говорят, что кто в этот день умирает, это вроде бы святые люди, святых берёт к себе. Ну и сразу я позвонила ректору, хотя это выходной день был и следующий выходной был, в общем 3 дня было выходных. Думаю: «Господи, что же делать?» Я позвонила ректору, он говорит: «Сейчас я подумаю, сейчас мы всё организуем, не волнуйтесь». Значит, полагается так: врача вызвать, констатировать смерть надо, а потом надо человека в морг увезти. Я одна, я в такой растерянности. Вот человек если бы лежал больной, я бы устала, я бы, наверное, уже сказала: «Ну, слава Богу». А тут вот мы разговариваем и всё. В общем, они всё взяли на себя. Приехала эта карета специальная, увезли в морг, пришли из института какие-то две женщины хорошие, все одели его, там всё новое. И Шабунин тоже передал мне, что похороны, прощание в институте, все берёт он на себя. Моё дело только прийти. Грандиозные похороны были. Институтский зал был полон, откуда только кто ни приехал. Очень достойно, в мамину могилу его похоронили. Он давно говорил, что к маме надо его похоронить.

Я год пожила в Волгограде, даже полтора. Ну и поняла, что всё-таки очень тоскливо, очень грустно одной. И я переехала сюда в 1997 году. Ну, а здесь я уже, конечно, не работала. Репетиторствовала, потому что скучно было очень без работы. Тут община лютеранская есть, мы же лютеране, хотя мы выросли уже в атеизме. Папа был абсолютный атеист, у мамы, может, с детства теплились какие-то там чувства, но знаете, когда всю жизнь в атеистическом, так сказать, духе живёт... Один очень умный человек, я вот не помню кто, какой-то величайший учёный, типа Эйнштейна, но не

Эйнштейн, а такого ранга. Когда его спросили, как он там думает насчёт веры, он говорит: «Вы понимаете, я учёный, я представитель точной науки. Чтобы убедить меня, мне нужно всё доказать. Никто ещё до сих пор не доказал, что Бог есть. Но никто и не доказал, что его нет. Поэтому вопрос веры — это личное дело каждого человека». Но тем не менее поскольку было в общем-то грустно и скучно, я в эту общину пошла и там встретила массу своих сверстниц и старше, которые пережили Сибирь, пережили трудармию и вернулись. В Ленинграде процентов 25 до войны было немцев. Потому что они строили Петербург, в общем-то. Вы когда-нибудь экскурсию посетите, есть такой маршрут, называется «Немецкий Петербург». Его проводит наш Российско-германский центр, он в нашей церкви находится. Там Арина Александровна руководит. Ой, какая потрясающая женщина! Это восторг души! Энергичная, знающая, ей, по-видимому, лет 50, я думаю. Маршрут «Немецкий Петербург». И вам будет казаться, что вообще весь Петербург строили немцы. Почти так оно и есть. И я столько нашла там наших старушек, которые в трудармии были. Две из них были в трудармии в Игарке, у Ледовитого океана, и они работали на ловле рыбы, в Рыбпроме. В ледяной воде Ледовитого океана ловили рыбу. И выжили. И они были там, в этой общине. Они теперь умерли уже. И масса людей там была, которые не стыдились меня, которые не читали у меня на спине цифру 58, и я по отношению к ним то же самое. И сейчас очень много молодёжи пришло, причём они уже далеко не немцы — или дедушка был, или прабабушка была немка. Или просто решили в лютеранскую церковь прийти. Так много молодёжи, и такая славная молодежь! Они так рьяно участвуют в общественных делах. Ведь всякая религия — это... Коммунизм тоже был в какой-то мере религией. Это идеология, которой руководствуется определённое общество, общность людей. И почему нет? Так что это мои единственные друзья. Потому что друзей ты приобретаешь или во время учёбы, студентом, или во время работы. А когда я приехала, мне было 72 года, где это я найду друзей, вот «возьмите меня в подруги»? А там вот много, и причём все очень образованные. Вот был такой академик Раушенбах, он в Москве работал, он был физик, тоже имел отношение к атомным проектам, кроме того, он политически очень смелый

был. На его счастье, он был молодой, когда в 1937 году истребляли учёных, так что его это не коснулось. Его сестра, Карен, рядом со мной сидела как раз. Такая образованная, интеллигентная. Так много люди знали, все читающие. Это, знаете, совсем другой дух, когда ты с людьми, равными тебе. Начинаем о какой-то книге говорить — читали, уже можем мнением обменяться. Это же пища.

ЖК: А по-немецки вы смогли там заговорить, ну, начать постоянно?..

МК: Да. Они все, мои ровесники и старшие, они все сохранили язык. Мне было 16, когда нас сослали, они были старше меня на 5–6 лет. Значит, им лет по 20 было. А если ты в 20 лет знаешь язык, то ты его, в общем-то, сохранишь. Я сохранила язык. А те, которые были младше, они, конечно, не сохранили. Потому что они попали сразу в русские сёла, в эти таёжные деревушки, и, конечно, они язык потеряли.

ЖК: А вам хотелось говорить по-немецки?

МК: Когда?

ЖК: Ну, когда-то, вообще за всю свою жизнь?

МК: Ну что значит хотели? Одна из моих бабушек, по линии отца, до конца жизни не знала русский язык. Я с ней должна была по-немецки говорить. Старшая тётя, папина старшая сестра, она тоже полтора слова по-русски знала, пойдёт в магазин и еле-еле... В Камышине и в Саратове настолько много было немцев, что если пришла старушка с плохим русским языком, так продавщица её обязательно поймёт и обслужит. Одни тётя с дядей остались в деревне. Он был бухгалтер, она, собственно, домохозяйка. Она вообще русского не знала — ведь в деревнях в Республике немцев Поволжья крестьяне в основном жили — они не общались с русскими почти.

ЖК: Ну это вы имеете в виду до ссылки. А вот после, в самой ссылке и после освобождения, у вас была потребность говорить по-немецки?

МК: Ну как сказать? Это нельзя назвать потребностью. Если встречался человек, вот как сейчас пастор позвонил, он не может по-русски говорить, ну что же мне теперь — закрыть рот и не говорить с ним? Я вынуждена с ним по-немецки говорить. В зависимости от того, где я нахожусь.

ЖК: А с мамой, папой вы говорили по-русски?

МК: Да, уже давно по-русски. Иногда с мамой там несколькими словами переброшишься, но с папой с раннего детства по-русски. Потому что он вышел из своего родного, отчего дома в 7 лет. С 7-летнего возраста, как его вывезли из дома, дедушка вывез его в соседний русский город, определил в русскую гимназию, ребёнок ни одного слова по-русски не знал...

ЖК: А трудармия — это слово так и фигурировало тогда? Это так и называлось?

МК: Обязательно, это официальная трудовая армия. Но это была кампания — только немцев туда брали. Это была кампания по истреблению. Вот недаром же один из охранников сказал, я вам говорила, по-моему, эту фразу, когда нас привезли, и одна из женщин спросила что-то, ну, типа какие-то претензии или просьбы, или что. А охранник ей говорит: «Вас сюда привезли, чтобы вы тут сдохли, но сначала вы поработайте, сколько вы сможете». Это была кампания по истреблению, потому что условия были такие, в которых, в общем, человеку очень трудно выжить.

Когда нам в январе 1956 года объявили, что мы можем не ходить на отметку, нам больше ничего не сказали. То есть в каком мы социальном положении находимся, мы не знали. А поскольку мы уже к этому времени были такие запуганные и такие бесправные, что мы уже ничего и не спрашивали. Шло время, никто никуда не уезжал, я говорила — некуда ехать. Ну, правда, некоторые меняли одно место ссылки на другое. Допустим, вот моя младшая тётя, она была в трудармии в Челябинске, такая нежная тётя Маруся вот на этом снимке, что вы сделали фотографию. Справа девочка стоит, ей там 10 лет. Такая нежненькая, вот она была в горячем цеху в Челябинске в трудармии. А мужчина, с которым она перед трудармией познакомилась, учитель математики, он был на Крайнем Севере где-то. И они были врозь, естественно. А вот в 1946 году трудармейцам разрешили, если, вот, скажем, ты здесь, а он или она, или твоя сестра здесь, вы можете соединиться. Или она сюда, или ты туда. Но только это всё ведь были места ссылки за Уралом. Вот это разрешалось. А вот в 1956 году мы уже получили сведения, что мы не должны ходить на отметку.

Живём месяц, год. А дальше что? Мы ж не хотим тут до конца жизни остаться. Можем мы что-то или не можем? Мы боимся пошевелиться. Мы боимся, а кого спросить? Комендатуру распустили, кого спрашивать? В КГБ идти спрашивать? Так кто ж из нас пойдёт? Мы же боимся. Нам же должны теперь что-то сказать. Можем мы куда-то уехать и устраивать свою жизнь, мы же все были в подавляющем большинстве образованные и высокообразованные люди. Ну, конечно, много было крестьян тоже. Ну, хорошо, время идёт, ничего не сообщается. Всё слухами только. Всё слухами. Ну вот, таким образом, папа приехал, и мы в Красноярск уехали. Ну, это благодаря папе всё-таки, что он такой человек, до войны уже был учёный с именем. И потом вот мы в Сталинград приехали. Но юридически нам никто ничего не объявлял. И много лет спустя мы случайно узнали, что в 1964 году 29 августа, то есть почти в тот же день, когда в 1941 году был указ о нашей депортации, был указ Президиума Верховного совета, это через 23 года после депортации. Где-то в «Ведомостях Верховного совета». Но кто из нас, простых людей, получает «Ведомости Верховного совета»? Что там было напечатано: «Жизнь показала (это текст указа уже, только фраза из указа), что эти огульные обвинения были не основательны и явились проявлением произвола в условиях культа личности Сталина». Значит, нам ничего не объявили, а ведь в указе от 28 августа 1941 года, а он же тоже тут есть, мы его наизусть почти помним, там же было написано: «Установлено, выявлено, что среди немецкого населения находятся люди, которые готовы, потенциально готовы помогать наступающим немецким войскам, которые при появлении немецких войск непременно вступят с ними в контакт». Это всё потенциально, это предполагалось. И через 23 года после этого ни слова нам, а в «Ведомостях», которые только для служебного пользования, говорится, что «жизнь показала, что это были огульные обвинения». Значит, мы, живя в 1964 году, не знали, что теперь, оказывается, нас огульно обвинили. Это тоже я узнала только через чуть ли не 50 лет вот из этой книги, тут все тексты указов. Да нам же тогда, вот когда мы расписывались в том, что всё, нам не надо больше в комендатуру ходить, нам сказали: но Боже упаси, не в тот пункт, откуда тыслан. И вот через сколько лет? Не хочу сейчас считать, хотя считать

умею. В 1972 году опять же в «Ведомостях Верховного совета» номер такой-то, страница такая-то... Значит, в 1964 вышел указ, в котором написано, что нас огульно обвинили — но до 1972 года, то есть ещё 8 лет, немцам не разрешалось возвращаться на постоянное место жительства в Поволжье. А Республика немцев Поволжья так и не была восстановлена. И только в 1972 году появился, тоже мелким шрифтом на последней странице, как говорится, указ, который снимал с нас запрет, то есть я могла поехать в Саратов.

ЖК: А вы на это надеялись? Это было мечтой вашей — вернуться?..

МК: Нет. Мы знали, что нас там ничего не ждёт. И далее, этого мы не знали в 1972 году, поэтому никто не ехал в Саратов, мы были в Волгограде, дядя остался после трудармии в Челябинске. И ещё до 1991 года, то есть с 1941 по 1990, только через 50 лет крупным шрифтом в газетах было написано, что мы реабилитированы. Кто дожил до этого? Папа случайно, вот долгожитель. Я оттого, что я всё-таки ребёнком была. 50 лет понадобилось. Ельцин, конечно, пьяница, он распродавал Россию, он разорил Россию, разворовал Россию, дал разворовать Россию. Но единственное, что он хорошего сделал, он реабилитировал нас, и каждый получил бумажку, что он реабилитирован. 50 лет понадобилось, чтобы это вслух сказать, а вот эти два мини-указа — я говорю, мелким шрифтом на последней странице — мы не знали. Вот я стала читать книгу Германа, лет 5 тому назад она вышла, второе издание — нам подарили всем, Арина, о которой я вам говорю — я только узнала, что, оказывается, уже в 1964 году с меня огульные обвинения сняли, что я потенциально жду немецкие войска. Вот так, юридическая сторона вопроса. А в 1991 мой ребёнок, который родился в ссылке, получил справку, в ней написано, значит, Горовиц его фамилия... Я вам ещё не рассказала, почему я под своей собственной фамилией, или говорила уже?

ЖК: Нет, нет, не говорили, я хочу спросить.

МК: Значит, сын получил справку, вот она у меня есть, оригинал. Дана Горовицу Борису, 1952 года рождения, в том, что он с момента рождения и по январь 1956 года — значит, ему 3,5 года было в этот момент — проживал со своей матерью Шульмейстер

Маргаритой на спецпоселении там-то и там-то. С момента своего рождения он уже был в списках на вечное поселение.

ЖК: А это означало, что вам нужно брать его и тащить его тоже в комендатуру, чтобы отметку поставить?

МК: Нет, в 3 года нет. Когда женщина ссыльная рожала ребёнка, в течение трёх дней кто-то из членов семьи должен был в комендатуру заявить, что такая-то такая-то родоразрешилась ребёнком мужского пола, у ребёнка ещё имени не было и метрики не было, он ещё в роддоме лежал. Он уже был в списке. Зачем им этот ребёнок? А чтоб его на вечное поселение, это было бы второе поколение, которое будет жить прикрепленным. Если бы Сталин не почил в бозе, как говорят православные, то и он бы был там максимум трактористом, а не доктором математических наук.

ЖК: А были те, кто пытался это не сообщать, скрыть? Это было возможно?

МК: Ну как это так? Мы жили в таких маленьких местах, я вам говорила, даже деревья не разрешалось сажать, чтобы всё просвечивалось. Ага, вы пришли ко мне вечером, а чего ради вы ко мне пришли? А может быть, мы заговор с вами составляем? А вот этот пошел в ту избу, а чего он там ищет? Они, наверное, там заговор составляют. А вы говорите — скрыть.

ЖК: Это такое ощущалось, постоянный контроль со стороны коменданта или ещё кого-то там, местных жителей?

МК: Нет, мы под комендатурой были. Жители были только ссыльные. Там вольных, в этом Чкалове, куда мы на тракторе приехали, не было, были только ссыльные. А как можно скрыть? Так вот, почему я фамилию не меняла. Значит, мы познакомились в конце 1950 года, 30 декабря у меня высокая температура, но смену надо отработать. Если нет на руках больничного, то ты должен отработать смену, хоть у тебя 43 температура. Твоё дело, твои проблемы. И я, отработав всю смену, потащила в поликлинику. Ну и вот там мы познакомились с врачом. Потом мы иногда на улице встречались. А в следующем декабре мы поженились. Чтобы в ЗАГС пойти, отпрашиваться нельзя, это исключено. Так скомбинировали — он с утра работал в стационаре смену, а потом переезжал в поликлинику, и ещё в поликлинике приём на смену вел — значит, тут маленький промежуток времени был,

так подгадали, чтобы у меня между сменами тоже пустой урок был, и побежали в ЗАГС, бланки заполняем. Там графа: фамилия до брака, фамилия после брака. Ну, естественно, я написала фамилию до брака Шульмейстер, фамилию после брака Горовиц, фамилия моего мужа была. Ну, значит, всё, подали, быстрее, быстрее, быстрее. Она посмотрела: «Нет, вам надо переписать». — «Почему?» — «Вы не имеете права взять фамилию мужа». Я говорю: «Почему? Как?» — «Есть постановление, гражданка, что ссыльные, спецпоселенцы, женщины, вступающие в брак, должны сохранить свою девичью фамилию. Всё. Следующие!» Переписали, и вот так.

Вот наступил 1956 год, в комендатуру мы не ходим, мы пошли в милицию. 3 года уже ребёнку, пошли в милицию: «Пойдём, фамилию теперь возьму твою». Приходим, вот так и так. Показываем паспорта, свидетельство о браке: «Вот я теперь хочу фамилию мужа взять». — «А как же так? Вы же в документах, анкете написали, что фамилию после брака вы хотите сохранить свою?» Я говорю: «Ну, вы же знаете, почему я её написала? Что...» — «Нет, мы сейчас не можем это сделать. Как же мы можем? Вы же своей рукой написали, что вы хотите свою фамилию оставить. Да, у вас, — говорит, — прекрасный вариант есть, вы можете так сделать. Вы можете сейчас развестись, мы вам быстренько это сделаем, а потом снова зарегистрироваться и взять фамилию мужа». Мы говорим: «Спасибо большое, до свидания, будьте здоровы».

Ну и так и осталась. Потом, когда мы уже были одни с сыном, уже муж умер, мы уже в Волгограде жили, ему уже скоро паспорт получать, я говорю: «Слушай, пойду-ка я в ЗАГС, ведь у нас есть закон, что я могу заплатить госпошлину и взять любую фамилию. Есть такой закон, да. Я даже знаю людей, которые меняют так фамилии». Пошла. Она посмотрела и говорит: «Нет, нельзя». Я говорю: «Но есть закон, я знаю, позволяющий менять фамилию». — «Ну, знаете, это если вот неблагозвучные фамилии такие вот, некрасивые, тогда мы разрешаем менять». Я говорю: «Всё ясно». Повернулась и ушла. Она просто не хотела мне помочь, видя мою фамилию, и там же раньше национальность писали, немка, а в Сталинграде слово «немка» — это очень плохо. Вот и я так Шульмейстер до сих пор. А сын Горовиц.

ЖК: А вы думаете, если бы вы поменяли фамилию, было бы проще в том же Сталинграде вам?

МК: Нет, у нас семья два человека: я и мой сын, и я хотела быть на одну фамилию с ним. А то каждый раз объяснять, что я мама, когда прихожу в школу: «Я мама Бори Горовица», или там: «Я мама». Или мы в санаторий с ним едем, я говорю: «Нам одну комнату». Я должна обязательно показать и свидетельство о браке, и свидетельство о рождении, и Бог весть чего, чтобы доказать, что это мой сын, а не чужой парень. Ну, два человека семья, и две разные фамилии. Только поэтому.

ЖК: Такой вопрос по поводу того, как вы ощущали себя, чужой или своей в разных местах. Я так понимаю, что вот вы вернулись, ну то есть приехали в Сталинград, и вроде всё стало лучше, но всё равно...

МК: Нет, в Сталинграде мы были очень чужими... Мы вспоминали, как мы были в ссылке в коллективе школьном, где все были ссыльные интеллигентные люди, доценты, профессора бывшие из университетов, которые отсидели 10 лет как враги народа, а теперь на поселении работают хотя бы учителями, им разрешили работать. Мы чувствовали себя очень хорошо. В Сталинграде, я уже вам говорила, мы очень плохо себя чувствовали. Очень. И это никто не скрывал перед нами, собственно говоря, своего отношения к нам.

ЖК: То есть там, где не было, так скажем, вольных людей, в ссылке, вы ощущали себя свободно, своей?

МК: Конечно, конечно. Как не одна паршивая овца, а среди таких же паршивых овец каждый из нас был. Вот так.

ЖК: А когда это ощущение в Сталинграде перестало быть?

МК: Ну, совсем оно не перестало быть никогда, но утихать стало... я даже затрудняюсь сказать... ну, может быть, уже когда мне 70 лет исполнилось, я уже из школы ушла, и в общем как-то уже безразлично было отношение этих людей, которые в более молодые мои года так подчёркнуто неважно относились. То есть уже безразличие, притупление. А в начале очень было остро, очень остро. Ты к ней всей душой, к своей коллеге, а она... Вот так это было. Просто притупление этого чувства уже. Я же говорю вот, как у обречённого человека, я не знаю, или умирающего, не знаю, не испытывала ещё

этого чувства-то... чувство обречённости, безразличия. Мне безразлично стало. Я поняла, что это люди низкой морали, более низкого уровня знаний, профессионализма более низкого, чем я, допустим. И мне стало просто безразлично. Ну, грубо выражаясь, как говорят, наплевать на их мнение. Вот так. А только так можно было. Если это очень живо, долго до конца жизни переживать, ну это ж тогда лучше петлю на себя наложить.

ЖК: А как вы переживали это внутри семьи? Ну, вот этот случай с обедом. Чем всё закончилось? Вы так и просидели, молча, или что?

МК: Ну, естественно, молча, о чём говорить? Убрали всё в холодильник и ели потом долго сами. Что тут говорить? Никто ни слова не сказал. Ну что же между такими близкими людьми, мать и отец, обсуждать в этой ситуации, когда всё ясно? Тут слова лишние, как вы думаете? Что можно тут говорить? Но каждый, естественно, чувствовал.

ЖК: Такой вопрос. Папа вернулся к вам в ссылку, у вас за плечами тяжелейшие опыты трудармии, бесконечных этапов и арестов...

МК: Да.

ЖК: У папы тоже такой же ужасный опыт.

МК: Да.

ЖК: У вашего мужа тоже лагерный опыт. Вы делились друг с другом?..

МК: Никогда на эту тему не говорили, папа ни одного слова... Никогда ни слова папа не рассказывал о лагере, никогда ни слова муж не рассказывал, и никогда я им ничего. То, что я эти две заметки написала — никогда ни слова. Это меня пастор заставил написать. Никогда ни слова. Знаете, Женя, то, что очень болит, нельзя трогать. Потому что ещё больше делается. Вот как вы думаете, мы после стольких десятилетий таких мучений сядем втроём и будем: «А ты помнишь, вот как в тюрьме вот то-то, то-то...» Это просто было бы признаком, что мы уже все с ума сошли. Нормально мыслящий человек не может так... О таких больших горестных событиях не говорят, их носят в себе. И каждый знает, что у твоего близкого человека то же самое на душе. Об этом не нужно говорить, потому что я знаю, что он то же самое перенёс, зачем это озвучивать?

ЖК: Это для того, чтобы себя сберечь или друг друга? Или и то, и другое?

МК: Да нет, тут никто целей не ставил, потому или потому. Это просто естественно так получается...

ЖК: Вы говорите, что вы в Петербург приехали и встретили женщин из трудармии. То есть с ними вы о чём-то таком разговаривали, о своём опыте?..

МК: Ну только осведомлялись, где была в трудармии, была ли в тюрьме. А сидеть и перемалывать подробности всем было безумно тяжело. Я же знала, как им было тяжело, потому что мне было так же. Чего же я её буду спрашивать и заставлять её копать в этом, когда она в Ледовитом океане, в ледяной воде 12 часов в сутки стояла. Что я буду спрашивать? Я же знаю, что это очень тяжело. Нет, нет. Это было бы противоестественно. Говорить можно, переговаривать, перемалывать пустяки, какие-то мелочи. Но тяжёлое, о тяжёлом молчать надо. А те, кто, щебечут, это значит, слава Богу, у них не было ничего страшного.

ЖК: А у вас была переписка с папой до его возвращения?

МК: Временами была, временами прекращалась. Это в зависимости от того, какой режим в лагере был.

ЖК: А ещё вы говорите, что, когда вас арестовали в Таганроге, вы были на этапе, встретили большое количество разных ссыльных...

МК: Да.

ЖК: ...и татар, и...

МК: Да.

ЖК: То есть вы тогда в первый раз узнали, что так много людей было сослано всяких разных?

МК: Нет, что много сослано, мы знали. Мы туда первые приехали, ссыльные немцы. Чечены, ингуши приехали в 1944 году только, когда уже немецкие войска были согнаны с этих территорий, оккупированных. Ну, мы просто увидели, сколько сбежало, будем так говорить. Мы же оказались в тюрьме за то, что мы уехали — побег с места поселения это называлось. И мы просто увидели, как многие сотни и тысячи... и очень много было молоденьких девочек, девушек, женщин, беременных и с новорождёнными детьми, значит,

они успели сбежать, так сказать, их родственники там приняли, они там вышли замуж, создали семью, а потом пришли и арестовали её, хотя она с вот таким животом была. А ссыльных очень много, у нас же только ссыльные были там, калмыки были ссыльные. Всех калмыков выслали, депортировали. А им в вину поставили, что они готовились якобы преподнести Гитлеру золотое седло, если когда его войска придут в Калмыкию. Я не знаю, до какого предела там заняли Калмыкию или нет, была она под оккупацией или нет, но уже приближались. Вот якобы это всё про потенциальность говорилось для всех народов.

ЖК: А запомнились ли вам прибытия нового этапа, новых ссыльных, тех же, например, чеченцев?

МК: Да.

ЖК: Как-то у вас отложилось это в памяти, такие моменты?

МК: Ну, собственно говоря, это не было таким знаменательным событием, всё время приходили. А потом, в 1945-м, стали прибывать те, которые в оккупации были, хоть они там жили и бедствовали, и страдали, а многих потом в ссылку отправили. А вот он, может быть, хотел сотрудничать с немцами под оккупацией. Нет, чтобы так — если его схватили с поличным, что он сотрудничал, помогал немцам. Нет: «А может быть, он хотел...» Вот, они прибывали тоже, небольшими партиями, по несколько человек. Небольшими. Так что там всё время движение было такое, турбулентное. Потом начали — кто-то в плену был, правда, они в лагерь сразу пошли, кто в немецком плену был. Там фильтрационные лагеря были, кого осуждали, кого выпускали. Ну, там тоже парочка как-то промелькнула. Мы не фиксировали на этом своё внимание, нам хватало, что мы там. А уже там за другими следить... Да, ингуши, чеченцы — в феврале, лютые морозы были — они были все в тряпочных тапочках. Это вот мы заметили, так сказать. А больше ничего. Мы не входили, не кидались в объятия, мы не приветствовали, мы не отворачивались — я же говорю, нам достаточно было того, что мы там в ссылке страдаем.

ЖК: А как общение происходило между людьми? Всё-таки немцы там общались больше с немцами, ингуши с ингушами или?..

МК: Да нет, общались как получится. Если тебя в колхоз отправили, ты работал в той бригаде, на той работе, куда тебя бригадир

поставил. Были ли там чеченцы или немцы, или турки — турки, кстати, тоже были там, несколько турецких бывших подданных — никто тебя не спрашивал, с кем ты там. А когда ты 12 часов на току проработал, в степи, так тебе только до кучи соломы добраться, до кучи сена и лечь. Какие там общения могут быть? Все были голодные, оборванные, обмороженные.

ЖК: А были ли такие сложности, что не было общего языка для разговора, не все знали русский язык?

МК: Чеченцы не знали русский язык, в основном женщины. Мужчины, наверное, знали. Но, понимаете, там не было ни времени, ни потребности в общении. Я же говорю, если я отработала в лесу с топором в руке 12 часов, голодная, замёрзшая, грязная, мне никакое общение не нужно. Мне закрыть глаза и уползти в какую-нибудь нору, из которой меня никто не вытащит, не тронет сейчас, в следующий момент. Там не было таких общений, что мы по салонам ходили и в гости ходили. Там не ходили друг к другу в эти избы. Ну, я вам говорила, из самана построенные, типовые домишки. В каждом таком — две семьи. Как они между собой там... Я же говорю, каждый думал только, как чего-то поесть и уползти, и спрятаться от жизни. Настолько плохо было. Если меня съедают вши, и я голодная и измученная, надорванная, какое мне общение? На каком языке? Я молчать хочу, я глухонемая хочу быть.

ЖК: Можно ли говорить, что какие-то вещи были, в которых можно было как-то утешение найти? Кто-то там к религии, например, обращался...

МК: Религия была настолько под страхом наказания, что этот вопрос, можно сказать, не существовал. Может быть, старые люди в душе носили, конечно. Если старушка прожила 70 лет и была верующей, потом в ссылку пошла, она, конечно, не может стать атеисткой на следующий день. Но об этом, опять же, не было разговора, потому что я встречала в этапе, например, девочку-студентку первого курса, я её спрашиваю тихонечко: «А ты за что десятку получила? Ты за что?» — «А я на комсомольском собрании, когда нам читали какую-то лекцию про то, что Бога нет, я встала и сказала — а я верю в Бога». Всё, 10 лет. Молоденькая девочка. Очень хорошо помню. С Кавказа она откуда-то. Из одного из городов на Кавказе

она была. Студентка первого курса. Так что потребности в общении там не было. Система как раз разобщала людей полностью, что и было целью. Чтобы, Боже упаси, мы с вами не посидели там где-то и вдруг не составили план, скажем, крушения мира. Чтобы ни в коем случае никаких общений не было. Это самая главная цель была.

ЖК: А если кто-то умирал в ссылке, как хоронили? Кто приходил на похороны?

МК: Никто не ходил. Самые близкие, те, с которыми жил человек умерший. Выкапывали яму где-то. В трудармии-то просто рвы были заготовлены, куда сбрасывали умерших, и в лагерях так же. Когда ров полон, тогда закапывали. А таких похорон там не было. Я, во всяком случае, ни одного случая не помню, чтобы кто-то там к кому-то пришёл. Все были круглые сутки заняты своей судьбой. 20 минут опоздание на работу или на 20 минут вы вышли куда-то, это уже прогул. Это 6 месяцев тебе отрезают карточку 25 %, поэтому никаких отлучек, опозданий или уходов раньше времени не было. И ещё после войны это было порядочное количество лет, эти 25 %. Обязательно. Моя сестра, уже актриса высшего разряда, опоздала на репетицию в Таганроге как-то на 20 минут — полгода карточку срезали. А это было очень-очень много! Потому что в то время этот кусок хлеба был главным источником питания. Не стеснялись. А у директора, наверное, сердце разрывалось. Молоденькая, красивая, беспомощная девочка, можно сказать, а если он ничего не сделает, его же коллеги донесут. Вот, она опоздала, а он её не наказал. Он бы понёс страшное наказание. Так что система была очень продуманная, и всё было так связано, чтобы каждый за другим следил и никто в то же время ни с кем не общался.

ЖК: А были те, кто как-то выражал своё несогласие, пытался как-то сопротивляться? Вот вы говорите про Марию, которая ругалась и кричала на охранника.

МК: Нет, нет. Это просто благодаря её такому характеру. Очень шумная, энергичная, общительная. Они так это и воспринимали, если бы они это воспринимали всерьёз, и если бы она это всерьёз делала, ей давно бы лет 25 дали. Но у неё это так получалось, она просто разряжала свой бьющий через край темперамент, поэтому

они так ухмылялись, эти надсмотрщики, охранники. Мы все годы потом дружили в Кокчетаве. Она потом, в конце концов, вышла замуж. Пришла партия ссыльных, западники назывались, которые в Западной Украине. Они в войну там, действительно, очень сильно с немцами будто бы контактировали и потом отсидживали свой срок в лагере, в тюрьме, а потом в ссылку приходили. Вот за такого западника она вышла потом замуж, пару детишек ещё родила. И там так они и остались. Им некуда было ехать просто. Совсем некуда.

ЖК: А вы потом, когда уехали, продолжали общение?

МК: Нет. Нет, нет, нет. Это уже всё слишком далеко разошлось.

ЖК: Вообще с кем-нибудь из ссылки встречались?

МК: Нет, нет, нет. Все разъехались. Те, кто мог уехать, все уехали. Вот, скажем, почему мы уехали — потому что отец получил работу в большом городе в институте, и мы уехали. Такого ранга люди, конечно, куда-то уезжали, где-то их принимали на работу. А остальные все — ну кто его пригласит, если он простой крестьянин? Так что очень многие остались, но когда потом эмиграция в Германию началась, это не эмиграция, нет. Это как-то по-другому называется, когда разрешили в Германию уезжать немцам. А все вот эти крестьяне, которые там были, весь Казахстан полон был этих крестьян, они уже осели там. Какой-то кусочек земли имели там, какую-то избушку построили, и они все уехали в Германию. А те, кто имел здесь какое-то положение в России, те, конечно, устроились, в Москву многие москвичи вернулись и работали даже. Потом очень много же и русских ссыльных было, там не только немцы были. Вот в 1937 году сел, как враг народа, допустим, главный инженер Горьковского авиационного завода, был такой Павел Иванович Иванов, отсидел десятку свою, потом в ссылку навечно. А когда Сталин умер, русских отпускали сразу, они могли возвращаться туда, где они были арестованы. Это только немцам не разрешали. Немцам, крымским татарам. Ну, ингуши не спрашивали разрешения, они, как только Сталин почил, собрались и уехали.

ЖК: Как это?

МК: Кинжал, кинжал в руки — попробуй подойти. Как ветром сдунуло ингушей и чеченцев. Они к своим саклям вернулись, выбросили тех, кто жил в их саклях, и всё, и никто ничего им не мог

сделать. Они там, в горах высоко, цари были. Красивые были люди, красивые очень, чеченцы. Очень! Ну, к ним другое отношение было, чем к нам. К нам была животная и звериная ненависть. А к ингушам нет. А вот к нам была страшная ненависть. А вот все эти остальные — крымские татары, кавказские народы — нет, нет. Никакой ненависти не было. А к нам была, конечно, звериная эта ненависть. Ну, что поделаешь.

ЖК: А с чем это связано, как вы считаете?

МК: Ну, Женечка, это уже исторически. Это мы с вами в такую глубь, до ядра Земли дойдём, если будем это анализировать.

ЖК: А я хотела ещё спросить про окончание войны. Вы этот день или не день помните, как это вообще воспринималось?

МК: Ну, радовались, конечно! Потому что мы считали, что на другой день мы все уедем домой. И потом вообще, война страшная вещь. Все радовались. Все плакали, обнимались с кем попало, кто встретится, все плакали, радовались, смеялись. Все радовались, а как же?

ЖК: И вы получили информацию об этом прямо день в день? У вас был доступ к радио?

МК: Нет, нет, там в каждом селе был где-то громкоговоритель. В райисполкоме в каком-нибудь, вот эти чёрные тарелки висели. И потом, в последние дни, газет у нас не было, конечно, и радио не было ни у кого. А вот этот громкоговоритель, он вещал. Последние дни уж ясно было, что война кончилась, что там, было уже всё ясно.

ЖК: И вы надеялись, что с войной закончится и ваша ссылка?

МК: Ну что значит надеялись? Таких конкретных чувств я не могу вам сейчас гарантировать. Но если мы сосланы туда из-за войны, и она закончилась, то, естественно, подспудно у каждого мысль была: «Война закончилась, значит, теперь мы вроде можем домой ехать?» Так ведь логически нормальные люди рассуждают? Если несчастье пришло из-за войны, а теперь войны нет.

Я хочу показать вам папину трудовую книжку и обратить внимание на первую запись, когда отец начал свой трудовой стаж: в 1918 году. И ему потом засчитали 20 лет стажа на Колыме, и он работал без перерыва, ни одного дня, ни одного года перерыва до дня

смерти. И последняя запись — 1996 год... 7 января — день смерти. Значит, у него к моменту смерти был стаж — ну вот можно от 96 отнять 18, что-то я так, как математик, быстро не могу посчитать — но очень-очень много, то есть весь XX век, по существу.

Такая долгая жизнь и такая насыщенная и радостными, в своё время, и очень трагическими событиями. Отец родился в селе Каменка на Волге, там километра 4 от Волги она была. И до 7 лет жил в своей семье, у него было 8 братьев и сестёр, как это раньше бывало в крестьянских семьях. Да и не только в крестьянских, впрочем, было принято детей заводить столько, сколько, как говорили, Бог даёт. Но он был старший. Причём интересно, все братья и сёстры жгучие брюнеты, очень кудрявые, черноглазые, белозубые, ну просто цыгане. А отец, первый ребёнок у моей бабушки, единственный — головка, как соломенная шапочка, голубые глаза. Вот такой он был. Как это называется? Когда такой светлый ребёнок среди тёмных рождается. Забыла.

ЖК: Альбинос?

МК: Да, да, да, да. Но это, собственно, не случайность. Дедушка был жгучим брюнетом. Они ведь вот из юга Германии, там граница с Испанией, с Италией, поэтому, возможно, какой-то там предок очень брюнетистый был, кудрявый. А прабабушка, Барбара Кизнер, на которой прадедушка женился, была блондинка голубоглазая. И вот из этих 8 детей папа был беленький, очень такая тонкая, нежная кожа, голубоглазый, а остальные все были как вот прямо воронята.

Надо сказать, что немцы жили очень компактно, немецкие сёла строились, когда они приехали из Германии, как чисто немецкие сёла, русского населения не было в этих сёлах. Поэтому контактов с русскими было в первое поколение очень мало. Пока они осваивали жизнь, климат, почву. Контакты начались уже позже, в третьем поколении, примерно когда началась уже торговля, продукция уже была, надо было уже её куда-то продавать, поэтому мой дедушка окончил в Саратове коммерческое училище, чтобы лучше ориентироваться в жизни. Но население этих сёл немецких, особенно пожилые люди, так до конца жизни, до самой ссылки не владели русским языком. Таким образом, в 7 лет, это было в 1902 году, дедушка мой

понял, что для полной интеграции в жизни нашей, их новой родины нужно, конечно, детей учить русскому языку и дать им русское образование, что было вообще большой редкостью в этих крестьянских семьях. Ну, дедушка был сам, по-видимому, очень способный человек, и он в меру сил, сам не получив особенного образования, кроме этой коммерческой школы, решил своим детям дать образование. Вот он посадил этого 7-летнего мальчика маленького — он был маленький очень, немножко хиленький, отец, ребёнком — посадил его в бричку и отвёз в соседний город уездный, в Камышин. Там было реальное училище. До революции у нас были реальные училища и гимназии. Чем они отличались: и то и другое учебные заведения было высочайшего уровня. Молодёжь, окончившая, скажем, гимназию или реальное училище, получала образование, примерно равносильное нашим средним школам, они получали при этом право работать даже учителями в школах — были школы церковно-приходские, двухгодичные, которые в деревнях учили детей читать и писать. В основном чтобы они могли Евангелие читать, Псалтырь читать. Двухгодичные церковно-приходские школы. Потом были четырёхгодичные школы — это начальные школы в деревнях. В немецких сёлах — это немецкие школы были, в русских — это русские школы были. И в основном крестьяне для своих детей ограничивались церковно-приходской или начальной школой. А у дедушки был план своим детям дать более хорошее образование. И вот он отвёз папу в Камышин, в реальное училище — прекрасное здание, мы с сестрой ездили туда после смерти отца, посмотреть, где же он провёл свои 10 лет самостоятельной уже жизни. Шикарное здание: высоченные потолки, огромные залы, классные комнаты и несколько залов — торжественный зал, спортивный зал. Оборудование прекрасное было. Там в это время, в советское, была школа тоже.

И вот этого мальчика, ни одного слова по-русски не говорящего, дедушка поместил в русскую семью, это называлось на постой. Он должен был за то, что он там живёт, помогать хозяйке в виде платы. Он должен был ставить самовар три раза в день, этот малыш, и должен был качать люльку, когда младенец в этой люльке плачет. А младенцы сменялись один за другим с определённой периодичностью, поэтому работа была всегда одна и та же: качать

люльку и ставить самовар. Но при этом какая цель была — чтобы он жил в русской семье и скорей выучил русский язык, потому что в школе занятия, естественно, были на русском. Да, я не сказала ещё, какая разница между гимназией и реальным училищем. Гимназия давала приоритет гуманитарным наукам, а реальное училище — точным наукам. Поэтому если, например, ты хотел поступить в университет, на исторический или другой факультет, где преобладают гуманитарные науки, ты должен был гимназический диплом предъявить. А если ты поступал на факультет физический, математический и прочее-прочее, ты должен был реальное училище окончить. И даже если ты окончил реальное, но решил поступить на медицинский факультет, ты должен был сдать экзамены за гимназический курс, разница была только в том, что там были и латинский язык, и даже древние, мёртвые языки в гимназиях преподавали, а в реальном делался упор на физику и математику.

Дедушка решил всё-таки его отдать в реальное училище, потому что он считал, что, по-видимому, для мужчины всё-таки точные науки — это более надёжная, так сказать, будет специальность.

К концу первого года отец уже разговаривал абсолютно чисто, без акцента, на русском языке. Летом дедушка его забирал в деревню, там он помогал, телят пас, ещё со всякими мелкими животными возился обязательно. Никакого тунеядства со стороны детей, беготни просто не было. Каждый ребёнок с самых-самых малых лет имел какие-то посильные обязанности. Это не значит, что его заставляли какие-то невыполнимые работы выполнять, посильные. Вот, скажем, ребялёночку три годика, ради игры ему давали маленькую корзиночку в руки — сады же были очень большие у всех — и сказали: «Вот в эту корзиночку ты все яблочки, которые вот тут лежат, на травке под деревом, должен собрать и принести бабушке». Ребёнок уже чувствовал свою какую-то ответственность за эту работу. И так, по мере того, как ребёнок рос, задания усложнялись и ребёнок, человек рос с чувством, что он должен вносить какой-то вклад в дело всей семьи. И поэтому семьи были очень дружные, большие, никаких ссор и разборок не было. Все были, как говорят, при деле. Все имели свои обязанности.

И вот, отец окончил 3 класса, кстати, он был уже, начиная со 2-го класса, первым учеником. Тогда в конце года составлялась, так сказать, табель о рангах, как говорят у службистов. Первый ученик, второй ученик и так далее. Он бесценно был первым учеником, потому что он, по-видимому, так понял: деревенские дети готовились к какой-то работе, Библию читали, а для души-то, по-видимому, требовалось что-то другое — для головки, для работы мозга. И вот он понял, что есть ещё что-то кроме работы домашней, есть книги, знания, он был совершенным фанатиком. Но когда он окончил 3 класса, приехал дедушка и сказал, что всё, собирай свои вещи, ты писать по-русски умеешь, читать умеешь, считать умеешь, этого достаточно, чтобы ты мне теперь помогал в хозяйстве. А дедушка, кроме крестьянского хозяйства, ещё решил, что такие вот способные, сильные крестьяне ещё каким-то дополнительным делом заниматься могут. Ну вот, скажем, кто-то научился сапожному делу. В длинные, зимние вечера, когда сельскохозяйственная работа уже как-то немножко затухает, без дела сидеть нельзя было. Кто-то научился каким-то слесарным работам, а дедушка решил открыть небольшой магазин, как выражались раньше, колониальных товаров. То есть всё то, что нужно в деревне. Начиная от конских сбруй, плугов и посуды всякой, утвари. А для этого ему нужен был человек, который умеет по-русски читать, писать и считать. И он объявляет ребёнку десятилетнему, что всё, твое образование закончилось — поедем, будем теперь с тобой работать вместе, откроем магазин. Ну, к стыду мужскому этот десятилетний мужичок первым делом расплакался. Расплакался страшными горькими слезами и стал умолять дедушку: «Нет, я хочу учиться, я хочу дальше учиться. Я ещё хочу до конца учиться, так интересно». В общем, никакого сладу не было. Дед был непреклонен: «Хватит, я иду за твоими документами». Пошёл к ректору училища.

Маленькое отступление. Вот прошёл почти целый век, и когда мой сын оканчивал школу в Волгограде, мы каким-то образом разговорились с его учительницей по литературе, Татьяной Борисовной Михеевой. Оказалось, что в этот момент её дедушка был ректором этого реального училища. А у папы была же большая фотография в раме красивой старинной, висела в его кабинете, где все

преподаватели, в центре вот этот бородатый с какими-то орденами ректор училища, а оказался это дедушка Бориной учительницы. Это потрясающее совпадение. Они тоже камышане, как и мы. Значит, мой дедушка имел дело с её дедушкой. Ну, она молодая ещё тоже, ну моего возраста примерно была. То есть поколение, поколение.

И дедушка пошёл за документами. А ректор говорит: «Что вы, господин (или как там раньше называли, уж не знаю), это же наша гордость, этот мальчик приехал, не зная ни одного слова по-русски, посмотрите, как он читает, какой он начитанный, он поглощает книги. Это наша гордость. И когда он дойдёт до выпуска — это, безусловно, будет первый ученик. Нет, нет, нет». А дедушка: «Нет, мне нечем платить». А там надо было каждый год платить. Это уж он, конечно, кривил душой, плата была не так велика. И ректор говорит: «А, если дело в плате, повремените до завтра. Придите завтра». Ну и, значит, дедушка взял этого исходящего слезами мальчика и на следующий день пришёл, и ректор говорит: «Раз дело в плате, я вчера поехал в земство (а тогда была земская управа, орган, который управлял образованием, здравоохранением, как наш горисполком), и земство взяло вашего сына до окончания реального училища на полное государственное обеспечение. То есть оно будет платить за него и полный пансион». То есть дедушка мотивировал, что он должен за постой платить, за чай, за суп, что там ребёнок получал. Полный пансион. Дедушке нечем было крыть. И таким образом папа остался и окончил реальное училище первым учеником.

Эту большую картину, этот большой портрет я тоже в музей в Волгограде сдала, письменный стол его, книжный шкаф, часть. Библиотеку-то папа завещал институту всю. Мой внучок, он у нас летом жил, занимался этой библиотекой. Много тысяч книг, мы для них печать заказали такую: «Библиотека профессора Шульмейстера». И он везде, во всех книгах, на определённой странице, на первой и на семнадцатой полагается, целое лето печатал. Эту библиотеку всю увезли потом на машинах в институт. А вот некоторые книги, не специальные, хорошие книги были тоже, это я в музей передала. И вот этот шикарный портрет. Мне потом очень жалко стало. И я даже подумывала съездить в Волгоград, я имею права, у меня

документы есть, что я сдала её, попросить обратно. А потом думаю: «Господи, сколько мне жить осталось, всё-таки там люди приходят и видят её, а после меня куда она денется, где её повесят?»

Дедушка вздохнул, думал, теперь-то уж сын его старший будет работать с ним. А папа объявляет, стал 17-летним юношей смелым, и говорит: «Нет, отец, я теперь поеду в Москву учиться». Это был удар для бабушки, первое, что он сказал: «Я платить за тебя не буду!» Папа говорит: «Не нужно, я буду зарабатывать себе сам». Он остался на один год в Каменке и работал народным учителем в четырёхклассных школах. И заработал так довольно много, учителя очень хорошую зарплату получали и, так сказать, полноценную, по-моему, 25 рублей золотом в месяц. Так, если я не ошибаюсь. И он уехал в Москву, в Петровско-Разумовскую академию, поступил, заплатил за первый год учёбы, и ему хватило на питание, на учебники, надо же сразу же много было их покупать, принадлежностей канцелярских. У нас долго сохранялась фотография его комнаты в общежитии. Каждый студент имел комнату, там не было так, чтобы несколько человек в одной комнате в общежитии. Но когда папу арестовывали, это всё в его письменном столе было, конечно, забрали эту фотографию среди прочих других. Очень много фотографий с Вавиловым было.

Ну а преподавал у них уже на первом курсе Вавилов. Совершенно молодой, лет на 5 старше папы, он только окончил, но поскольку он тоже фантастически способный был, то его академия оставила сразу преподавать. И он присмотрел этого беленького студента, старательного необычайно, предложил ему на кафедре работать. И он его каждый год, летом, в экспедиции возил по всей стране. Нет страны, где бы сам Вавилов не был. Он же всё искал прародителей наших нынешних растений. И он их и нашёл. Вот есть Институт растениеводства на Исаакиевской площади, Я была там 2 раза с немецкими экскурсиями, я пробилась туда. Потрясающе. Где банк растений, банк семян хранится.

Все годы папа работал с Вавиловым летом в экспедициях, зарабатывал себе деньги на следующий год, и, в общем, это были, конечно, очень радостные годы. Это учёба, это впитывание всей культуры. Причём раньше был в столичных высших учебных заведениях

такой порядок — университет или академия закупали для своих студентов на весь год билеты самые дешёвые, на галёрку, в Большой театр, в Малый театр и в Консерваторию. Папа и Шаляпина слышал в Большом театре, и Собинова слышал, и в Консерватории всех наших великих музыкантов, это же до революции ещё было. Папа окончил в 1918 году, а в 1917-м революция произошла. Потому они заботились о том, чтобы студенты использовали годы столичной жизни для того, чтобы свой культурный кругозор как-то расширить. Они же все в основном из глубинки приезжали, эти студенты, поэтому, конечно, это были самые лучшие годы. Во-первых, папа уже научной работой занимался, во-вторых, посещения всех этих выставок. Потом были часто встречи с меценатами. Ведь Савва Морозов, Третьяков, который основал Третьяковскую галерею и первые партии картин закупил, встречались со студентами, они встречались с народом, так сказать, чтобы привлекать их к участию. Ну, частично и пожертвования, и просто привлекать, приглашать, чтобы они посещали ту же Третьяковку. Это же незнакомое всё было, новое дело. Посещали театры. Видели знаменитых наших драматических актёров тех времён, Книппер-Чехову. Кстати, у сестры в дипломе подпись председателя экзаменационной комиссии — сестра же ГИТИС окончила, — совсем старенькая уже председатель экзаменационной комиссии была Книппер-Чехова. В 1945 году, жена Чехова. Вот она очень долго жила, а папа её видел в Малом театре ещё молодой цветущей актрисой. Так что это были прекрасные годы.

И вот, когда Вавилов увидел, что заканчивает учёбу такой сверхъестественно способный, энергичный студент, он решил для него создать, основать опытную станцию. Ну, что такое опытная станция была? Это филиал вот этого Института растениеводства, который у нас на Исаакиевской площади. Ему нужно было, чтобы во всех регионах огромной нашей страны были такие филиалы, и на них бы трудились молодые энтузиасты-учёные, и все эти сведения собирали, они же генетикой занимались, они выводили новые сорта растений, которые давали бы большой урожай и которые были бы стойкими против климатических, тяжёлых всяких условий. А для этого нужна была молодёжь, которая бы, не глядя на часы и не глядя на день недели, трудилась бы. И вот основывались в разных

регионах страны такие опытные станции, а у нас в Поволжье, ведь я вам в первую, по-моему, встречу рассказывала, очень тяжёлый климат был, очень. Поэтому вот это выражение: «голодающие Поволжья», возвращаюсь опять к нему, это было актуальным выражением актуальной, действительно, обстановки. Потому что голодные годы повторялись периодически через приблизительно одно и то же число годов, и вымирали тысячи-тысячи. А вот голод 1922 года, там миллионы погибли. А потом 1933 год, ещё голод. И поэтому Вавилову было это очень важно, очень. Поэтому он выискивал старые культуры, особенно в Южной Америке он их находил очень много, в Тибете где-то. Вот какие они первоначально, как их природа создала. Ведь их же никто там не сеял, не выращивал, а они сами там зародились. Нужно было их взять, выяснить все их генетические способности, что в них заложено, вытащить эти способности, приспособить их к сегодняшнему дню — это очень интересная, кропотливая и рассчитанная на много лет работа. Ну и таким образом в степи, километров, наверное, 15 от Камышина — степь, и вот привёз Вавилов туда папу и несколько молодых ещё сотрудников. Они ещё были студенты последних курсов, но они уже согласились там работать, а ездить в Москву только для сдачи экзаменов.

Степь да степь кругом. Ковыль, жара, песок. Начали с того, что построили домик для директора, это в 1918 году, создали, посадили деревья, нашли подземные источники. Очень бурно, в общем, начали. А раз подземные источники, значит, вода есть. Был вырыт огромный-огромный пруд, есть фотография наша детская с сестрой, где мы сидим на берегу этого пруда. По берегам, чтобы сохранить, чтобы не зарастал пруд опять песком и землёй — деревья, до сих пор стоят. Укреплён, берега укреплены. В общем, всё было приготовлено, главное — воду раздобыть. И начали закладывать делянки, начали работать. Результаты были, по-видимому, потрясающие, потому что Вавилов часто приезжал, смотрел работу. Папа часто приезжал. А у Вавилова уже база была здесь, в Ленинграде. Сюда приезжал в командировки для отчётов. И проработал он там, значит, с 1918 года, вот как у нас тут записано, до 1930-го. Это, значит, 12 лет. Даже немножко больше там получается, почти 13. Получил, издал уже несколько десятков трудов, вот у нас тут список есть трудов,

можно по годам посмотреть. Папе в 1930 году было 35 лет. И он был избран членом ВАКа, Всесоюзной аттестационной комиссии при Академии наук в Москве по биологии. Вот Академия наук, секции медицины, математики, биологии и прочее. Вот секция биологии. Это огромная честь, и туда, конечно, выбирались только люди, компетентность которых не вызывала сомнения. И в этом же году он получил звание профессора и был приглашён в Саратов на должность проректора по науке в сельскохозяйственном институте и заведующего кафедрой растениеводства. И вот тогда, в 1930 году, мне было 5 лет, мы переехали в Саратов. И с тех пор мы жители Саратова были.

Отца мы почти не видели, работал он — утром мы вставали в школу, его уже не было, вечером ложились, его ещё не было — ну такой стиль работы. У Вавилова было так же. Вот я читала воспоминания его жены, воспоминания его сына у меня есть, с его личной надписью дарственной: «От Юры». В Москве живёт его сын. Все учёные в то время так жили. Видели спящих детей только. Ну, никто не роптал, никто не сетовал, и жёны не сетовали, потому что это была судьба таких фанатиков от науки.

В основном всех биологов в 1937 году арестовали. Вавилова начали травить тоже уже в 1937 году. Но не решился Сталин его всё-таки арестовать в 1937-м. Вавилов к этому времени был действительным членом всех академий передовых стран. Член Английской королевской академии наук. Всех. Так что он был на всех международных симпозиумах, конференциях по генетике. Побоялся, нет, не побоялся, решил повременить, повременить решил. А тут уже Лысенко появился, как говорится, на горизонте. Бездарная, безграмотная личность, который копал под Вавилова и под весь его институт. В 1937-м. Мы, дети, уже всё знали. Потому что мы ж в такой среде вращались, мы жили в доме, который назывался Дом научных работников. Он был построен на средства научных работников самих, в центре Саратова. Это был первый дом в Саратове четырёхэтажный, а Саратов, в общем-то, был двухэтажным купеческим городом. Это был первый дом с коммунальными удобствами, с отоплением, с канализацией, с водопроводом, и жили в нём только профессора или, в крайнем случае, пока только доценты.

Поэтому — сегодня ночью того увезли, сегодня ночью того увезли. У всех подружек наших папы уже были арестованы. И поэтому мне было 12 лет, но я всё понимала.

Начался 1938 год, и мы думали, наверное, что нас минует это. А не миновало. 22 июля, часа в 4 утра, уже светло было, вдруг я просыпаюсь, папа подошёл тихо к нашей кровати, мы на даче жили, поэтому там немножко тесновато было, папа подошёл и маме говорит: «Оля, вставай, за мной приехали». И сразу тоже встрепенулась, проснулась. Прошло месяцев 10, мы ничего не знали... Самое страшное, что ведь арестовывали таких больших учёных или партийных деятелей, или писателей, журналистов, ведь не только профессоров арестовывали и учёных, там сколько членов партии, тех, которые революцию делали. К этому времени уже всех их расстреляли, всю эту гвардию молодую, которая революцию делала. Их всех в 1936 году осудили, показательные суды были, газеты были полны, все процессы печатались, такие газеты были в то время. Тухачевского, конечно, всех военачальников, Уборевича и всех. Увезли папу, мы ждали, что за мамой приедут. Обычно-то увозят мужа, а потом через короткое время приезжают, забирают жену. А я страшно, панически боялась детского дома. Мы уже знали, что детские дома для детей врагов народа — это маленькие тюрьмы. Сам детский дом, обычный детский дом — это печальная участь для ребёнка, детский дом — это сиротство несчастное. А вот детские дома для детей врагов народа — это было страшно. Это мы уже всё знали к этому времени. Мне было 12, и я по возрасту ещё должна была бы в детский дом попасть. Сестре было 15, и она могла бы уже и миновать его, если бы какая-нибудь тётя и дядя взяли бы её к себе. Мы, конечно, с дачи в этот же день уехали в город, и мама не ложилась, я не знаю, сколько месяцев прошло? Она не раздевалась, она была одета, в полной готовности, с узелком, как обычно это с теми, где ждали ареста — узелок, пара белья нижнего, кусок мыла и зубная щётка. И на нервной почве она стала очень-очень больным человеком. А у меня пожизненно, это мой бич — бессонница. Каждый шорох, каждый стук ночью. В детстве, в юности, в молодости, потом как-то к старости немножко были периоды, когда я как-то могла уснуть, но это уже запрограммировано было. Это прошло месяцев 10 — ни известий, ничего.

Мама ходила, с вечера занимала очередь в прокуратуру. С вечера шли женщины, на улице, в темноте занимали очередь. И когда открывалось, там, значит, окошечки в этом заведении, на каждую букву. И нет никаких сведений: жив или не жив. Можно ли передачу. Каждая брала с собой какую-нибудь, хоть крошечную передачку, если разрешат. Так мама ходила примерно до марта.

ЖК: А вы с ней не ходили никогда?

МК: Нет, нет, нет. Она не брала. Страшно было... Многих же прямо из этих очередей жён арестовывали, уводили. А мы, скорчившись, съёжившись, дома ждали маму. Ну и — нет сведений, нет сведений, нет сведений. Пока шло следствие, никаких сведений не давали, потому что их пытали, и в таком виде, конечно, ни о каких свиданиях и речи не могло быть вообще. А в один прекрасный день, этого я даже не помню, я, наверное, дома не была. То ли пришёл какой-то посыльный, то ли каким-то другим образом передали маме, что можете передачу принести туда-то, туда-то, во столько-то, во столько-то. И мама тогда говорит: «Значит, папа подписал всё-таки себе»... Им предъявляли же сразу готовые, уже оформленные показания, что вот ты вот студентов готовил там, ну, в общем, всю эту муть. «Вот, подпишите и всё». А люди-то ведь не подписывали сразу. Людей до смерти забивали, а они не подписывали. Ну а некоторые всё-таки, в конце концов, не выдерживали и подписывали. И вот, когда разрешили передачку, то мама говорит: «Значит папа всё-таки подписал».

А что было делать? Такие силачи, как Тухачевский, Егоров, военачальники здоровые, крепкие — и то подписывали, когда уже никакой надежды не было. Ягода очень изобретательный был. Тем более Сталин в те годы дал же указание, это было сообщено, применять в следствии с врагами народа физическое воздействие. То есть официально были разрешены пытки. Это было официально сообщено даже. Так что кто-то погибал под пытками и не подписывал, у кого сил хватало до смерти, кто-то не выдерживал, подписывал. Ну и ещё потом прошло, что-то там мама отнесла, но что отнесла, я не помню, не помню. Что она могла тогда туда отнести, ну, может быть, сухари, может быть, кусок мыла. Понятия не имею. Ну а потом снова всё тихо, снова всё тихо. А однажды ночью, это было

уже в июне, пожалуй, так, май, июнь, в конце июня или в начале июля. Ночью тихо-тихо скребочек в дверь входную, мама открыла, женщина пришла и говорит, что я вам весточку принесла. Ей дали свидание с отцом, он уже был осуждён. И она говорит: «А мой отец в одной камере с вашим мужем, и он просил передать, что он ещё жив». Это вот где-то было в конце июня или в начале июля. И ушла сразу. А потом где-то в конце июля, это уже год прошёл, вдруг получает мама — я была у бабушки в этот момент, в Камышине, и я не знаю, в каком виде мама это получила — весточку, что папа в пересыльной тюрьме, там был такой город Татищево под Саратовом, и там была огромная-огромная пересылка. И туда свозили со всего Нижнего Поволжья осуждённых уже, и там формировались потом эшелоны уже в лагерь во все стороны, по всей Руси великой. И вот она получила известие, что папа уже в этой пересылке. Что это такое, пересылка, мы с мамой во время нашего этапа узнали, о котором я вам рассказывала, бывали на пересылках, это уже люди осуждённые, уже, как говорится, с них взятки гладки, за ними никто сильно не следит, то есть тюрьма, конечно, и колючие проволоки, и стены, и всё, но там в одном огромном помещении, как ангар самолётный, напихано сотни людей. Там они ждут, что их вызовут, такой-то, такой-то с вещами, значит, его эшелон уже формируется, он уже идёт туда, куда вызывают, допустим, во Владивосток эшелон идёт, или в Воркуту на север идёт эшелон, или в другие места. В Котлас, в Кандалакшу.

Я вам расскажу, что означает название Кандалакша. Это по направлению к Архангельску. Кандака — это кандалы. Туда ссылали каторжников ещё при царе, а «кша» — это убрать. И вот когда доводили этап охранники, стрелки до этого места, то там была такая дремучесть, непроходимость и невозможность побегов, что команда была: «Сбрасывайте кандалы». «Кандака кша!» И так возникло название этого пункта. Кандалакша.

И вот известие, что папа на пересылке. Мама поняла, что папа жив, да и сказано было, что его там можно навещать. И она сама сразу поехала, там целый день можно было пробыть. Приходишь, там окна тоже с буквами, показываешь паспорт, что ты такая-то к такому-то, и минут на 10–15 его выводят: решётка, маленькое

помещение и сверху донизу решётка. Его приводят оттуда, изнутри, по ту сторону, а ты заходишь в дверь — и с этой стороны. Так что никаких объятий и ничего не может быть. И если то, что ты принесла, ему разрешено передать, то охранник это берёт и — там такая маленькая форточка — и ему отдаёт. Во всяком случае, ты его видишь.

И мама сразу сообщила бабушке, чтобы она меня привезла домой, что можно папу повидать. И мы с сестрой поехали вдвоём, без мамы, не знаю, почему мама не ехала, то ли она лежала больная, то ли что, в общем, а сестре же было уже 15, пошёл 16-й год. И мы увидели папу через год. Год следствия. Из них последние 2 месяца смертная камера. У него был вес 40 кг. Но тем не менее он вышел с какой-то даже улыбкой на лице. На ботинки я обратила внимание, тогда ботинки носили мужчины со шнуровкой на щиколотке. Обычные мужские ботинки. Сейчас такие не делают. Значит, ботинки без шнурков, и он хлопает в этих развязанных ботинках. Это меня тоже так, знаете, морально потрясло, мы и так уже были угнетены, убиты, раздавлены, а вот эта мелочь, что мой папа, всегда такой аккуратный... Он свои домашние тапочки каждый вечер снизу с подошвы протирал влажной тряпочкой, сам. Такой был. Воротничок, манжеты всегда идеальные были, причём это он сам такой, не то что он требовал какой-то особой obsługi. И тут он год в той одежде, в которой его арестовали. Год в подвале около вонючей параша. Знаете, что такое параша? Это деревянная бочка. Мы ни о чём, по-моему, даже не говорили, потрясение страшное. По-моему, папа даже спросил: «Ну как в школе?» А может быть, и не спросил. Вот я совершенно ничего не помню. Эти 10 минут прошли просто как один миг, тут же стрелок к нему подошёл, который с той стороны был, взял его за плечо и всё, и через 20 лет мы папу увидели в следующий раз.

Прошло много месяцев, мы ничего не знали, ничего не знали ведь. Мы ведь не знали, что он был приговорён к расстрелу. У нас же никаких не было абсолютно контактов. Где-то в октябре мы получили от него письмо. Тогда ходили треугольнички без марки. Вы, может быть, не знаете, раньше бедные люди, которые не могли купить себе сигареты и папиросы, покупали пачками папиросную бумагу. Вот такие кусочки бумаги стопочкой продавались. И мужички туда из кисета махорку клали, скручивали, и это была папироса.

Треугольничек был из тетрадной бумаги, а когда мы его раскрыли, там была папиросная бумага. И на таких двух листочках папиросной бумаги химическим карандашом было несколько слов написано. Не помню что. Забегая вперёд, мы хранили с мамой каждый листочек, потом уже было много писем, всё хранили, папа очень хорошо писал. И потом, когда я в Таганроге оканчивала Учительский институт, мы, конечно, были в большом беспокойстве. Мы всю эту переписку с папой спрятали. Была диванная подушечка, опилками наполненная, под спину подложить очень удобно. И оттого, что она была такая жёсткая, мы всю папину переписку туда заложили, зашили и пользовались ею. А когда нас арестовали, отправили обратно этапом, потом уже, когда мы уже совсем освободились, я хотела у сестры попросить, чтобы она нам эту подушечку в Сибирь прислала. И, оказывается, её муж боялся, что и сестру, не дай Бог, тронут, хотя в этой переписке просто было: «Дорогие мои, я жив, я работаю...» И ни стона, ни жалобы, никаких описаний лагерных, этого быта. Но тем не менее он уничтожил всё. Это сейчас такой был бы клад. И по этим двум листочкам папиросной бумаги мы поняли, что 4 месяца мы ничего не знаем о папе, но он ещё жив. А потом уже мы узнавали, как заключённые в вагонах ехали так же, как мы, как нас везли, когда депортировали нас, на соломе, без удобств, без всего... Какую-то еду им давали, потому что они же до Владивостока месяцами ехали. Конечно, многие умирали, но совсем не кормить тоже нельзя было. И вот они всё напишут, и на какой-нибудь стоянке, а обычно это, конечно, не города, не станции большие, но какая-то стоянка там для заправки водой паровоза, смена, может быть, машиниста, остановки какие-то были. Наверху в вагонах величиной с А4 листочек были форточки, решётками закрытые, но сквозь решётку можно было вот записочку бросить. Значит, если человек, идя по шпалам, увидел это, и он порядочный, человеческий, он это возьмёт и опустит в ящик. Или даже в конверт положит и надпишет. Ну а если плохой человек...

ЖК: То есть это вот письмо, которое вы первое получили от папы, именно с этапа было написано?

МК: С этапа, да. Ну а потом мы уже получили от него письмо с маркой по почте, как уж они марки добывали? Или они без марки

ещё были? Этого я не помню, потому что уже у нас у самих тогда этап был после этого через 10 лет. Во всяком случае, они во Владивостоке много месяцев лежали тоже в пересылке, потому что им предстояло ехать на Колыму, в бухту Нагаева. По карте можете посмотреть, печально знаменитая бухта Нагаева. А навигация из Владивостока до бухты Нагаева только 2 месяца в году. Значит надо выйти из Владивостока, пройти между Сахалином и материком, по-моему, это называется Татарский пролив, если не ошибаюсь по географии. И по закону физики, есть такой принцип Бернулли в физике, в очень узком водном этом протоке, не будем сейчас это всё с физической точки зрения объяснять, в общем, проход там безопасен для кораблей только 2 месяца в году. Охотское море очень тяжёлое море! И те корабли, кто из Владивостока идёт, и те, кто должен пройти этот пролив, гибнут страшным образом, если всё-таки дан приказ: «Езжайте!» Ну, подумаешь, 2000 заключённых ещё утонет. Поэтому очень долго папа был во владивостокской пересылке, там, где Манделштам умер, кто говорит, от голода, кто говорит, от плохого обращения. Это уже не имеет значения. Но факт тот, что он там погиб, во владивостокской пересылке. Почти под открытым небом, потому что таких помещений огромных не было, а там миллионы, миллионы! Транссибирская железная дорога — это миллионы людей, в те годы шли день и ночь эшелоны в конечный пункт Владивосток. Везли их в трюме. Что такое трюм? Трюм предназначен для перевозки грузов. Не в каютах же их везти. Их же много очень. Умирили в трюме, естественно, потому что они туда уже поступали измученные, больные, искалеченные, поэтому периодически охрана заглядывала в трюм и спрашивала: «Товар есть? Давай!» И вот эти тоже измученные, но живые должны были трупы подавать, их в море сбрасывали.

Ну вот. Приехали, значит, в бухту Нагаева и на рудники, на Колыму. Но там был какой-то род комиссии медицинской. Не потому что их там собирались подлечить или что-то, а потому что начальник рудника имел план, а если ему дали таких людей по 40 кг веса с не заживающими на теле язвами, то какой план он с ними сделает? Поэтому на этой комиссии медицинской не врачи играли главную роль, а начальник рудника требовал: «Мне нужно, у меня там

вымерли 10 000 предыдущей партии, мне нечем золото добывать. Мне нужно ещё 10 000 свежих». И вот он сидит, и заводят заключённых...

Когда дошла очередь до папы, он говорит: «А это вы мне чего даёте? Как я выполню план партии, правительства с такими?» Их забраковали. Кого-то взяли, а кого-то нет. Таким образом, папа не попал на рудник.

Дошло до того, что папу вынесли, как покойника... Хоронить зимой нельзя было, там вечная мерзлота. Поэтому ставили военные палатки в лагере, длинные-длинные, и покойников туда складывали штабелями. Ну и когда наберётся полная палатка, там по-всякому бывало, или в тёплое время, более или менее тёплое, заранее копали траншеи. Примерно шириной 2 метра. Если летние, те, которые летом заготовили, уже полные были, засыпали немножко, часто медведи, правда, разрывали, голодные медведи, и лакомились. Значит, если они уже были полные, то клали в этих палатках длинные и ждали того момента, когда можно опять эти траншеи рыть. В общем, папа уже оказался вот в этой мертвецкой палатке. Ночью со смены шёл старик какой-то, и ему показалось, что из этой палатки какой-то звук донёсся, хотя все знали, что это покойницкая. Он подошёл к стрелку на вахте и говорит: «Там какой-то шорох, звук какой-то». — «Да ладно, иди ты, старик... (и так далее)». А этот старик несколько раз возвращался, и в конце концов подошёл к охраннику и всё-таки заставил его туда пойти, потому что он чётко слышал звук. И когда они зашли и стали по рядам в камень замёрзших тел идти голых, то наткнулись на папу, он оказался живой. В полном бессознании, но живой. И он какие-то звуки подавал. Тогда, значит, охранник заставил старика и ещё там кого-то отнести его в барак к остальным. Вот случай, что этот старик в это время шёл и слышал. Этот старик был эстонцем. А старик этот работал, там было небольшое количество коров для начальства. Очень берегли и холили их там, и утепляли, чтобы для начальства было натуральное молоко. И там были и телята уже. И вот этот старик в ночную смену, заключённый, конечно, он варил овёс, из овса варили такое, называлось это овсяное молоко. Очень долго варили в котлах зерно овса, и получалась жидкость очень питательная. И этой жидкостью кормили

телят. И вот он прокрался к папе в барак и говорит: «Когда сможешь на ноги встать, вот под таким-то деревом, — описал ему именно под каким, — разроешь снег, там кое-что будет лежать». Объяснил ему, там, в какой-то тряпке или что. Оказывается, он брал горсть этого молока, оно там на улице сразу замерзало, завёртывал и закапывал. И вот он в течение порядочного времени папе каждую смену свою готовил вот такой комочек этого овса. И папа встал на ноги. И его определили, папу, вторым сторожем ночным к телятам. Случайное совпадение. Я говорю — папа, как жалко, что ты не знаешь имя этого старика. Мы бы его разыскали теперь и на коленях бы его благодарили. Ну, вот такой эпизод.

На каких-то работах папа был, конечно. А когда началась война, всех немцев приказано было расстрелять. Начальник лагеря по фамилии Голод был, по-видимому, хорошим человеком. Даже среди них случаются хорошие люди. Он присмотрелся к папе и, узнав, что он, оказывается, учёный, имеет отношение к растениям, а там же они все пытались на севере всё-таки что-то выращивать. Там ведь каждая капля пищи должна была быть привезена с материка. Поэтому всё время были попытки что-нибудь там вырастить. И вот так он как-то сблизился с папой, но первоначальное сближение было на другой почве. Удивитесь. У этого Голода были 2 девочки, школьницы. И они ходили в какой-то посёлок, или водили их, или возили в школу, потому что в лагере-то школы нет, а жили они прямо в зоне лагерной. И очень у них плохо было с математикой. А Голод по личным делам знал, что папа профессор. Особенно нельзя было контактировать с заключёнными, ещё припишут самому начальнику контакт с врагом народа. Но тем не менее он как-то его спросил: «Как бы вас попросить моим двум дурочкам помочь бы с уроками?» Коротче говоря, они там в контакт вошли. И папа каждый вечер после работы шёл в их домик и занимался с этими двумя девочками математикой, и там они ещё пристегнули немецкий, оказывается, у них, в 5-м или 6-м классе, немецкий был. И жена была просто счастлива. Говорит: «Дурочки мои две, дурочки». Ну, это ласково, конечно. И после каждого занятия она папе давала шикарный домашний обед. И такая дружба. Они же тоже жили там, как медведи в лесу. А оказывается, они были довольно интеллигентные люди. И они

в папе нашли собеседника знающего, интересного, интеллигентного, который Шаляпина слышал даже. Но кому-то это, конечно, помешало. Я не знаю, сколько это длилось, но сколько бы ни длилось, это была огромная помощь папе. И в один прекрасный день, когда папа пришёл, жена-то всё это организовывала, потому что муж-то всё время в лагере был. Она говорит: «Константин Георгиевич, вы сейчас покушайте, мы не будем сегодня заниматься. Вот вы же понимаете». Папа говорит: «Я, конечно, понимаю. Я даже этого ждал».

Но после этого Голод стал папу привлекать к работе такой, ну вот почти по профилю. Надо было пытаться что-то там выращивать. И вот это было начало, уже не буду всё это так подробно дальше рассказывать. Короче, через некоторое время папе уже была дана возможность, даны были рабочие, была выстроена огромная теплица, потому что в натуральных условиях, то есть на улице, речи ни о чём не могло быть! Там вот плюнешь — пока долетит до земли, уже ледяшка, стучается, как кусочек железа стучается. Серьёзно. Я сама в Березниках пробовала. Так было, когда минус 60 было. И таким образом он начал работать в этом утеплённом немножко состоянии, ну хотя бы до приемлемой температуры. Вот и пошло, пошло, пошло. И когда в 1941 году война началась, на другой день всех немцев вызвали на плац, на площадь, стали грузить на грузовики, отвозить чуть в сторону и расстреливать. Прямо в лагере слышно было. Тых-тых-тых. Опорожнился, приехал за второй партией. Ну и папа уже на грузовике, на расстрел. А сколько там академиков немецких было. Вот в Саратове был такой хирург, прямо золотейшие руки, Зибенхар его фамилия была. Он делал в то время такие операции уже, о которых даже трудно было представить себе, что такое может быть. Всех расстреляли немцев. И вот папа сидит наверху, уже мотор шумит. И тут выскочил начальник лагеря: «Стойте, стойте, стойте! Остановись!» Начал кричать охраннику: «Остановите его, остановите эту машину! Шульмейстер, слазь, Шульмейстер, слазь!» А стрелок-то по счёту принял людей и должен столько же трупов сдать, а труп к большому пальцу левой ноги должны привязать алюминиевую бирку, привязать алюминиевой проволокой к пальцу, и на этой алюминиевой бирке выбит номер, под которым он будет вечно храниться в списках умерших. Всех, кто умирал в лагере от голода,

от болезни, от расстрела, от всего — только так. Так что, если бы там сейчас поисковые отряды пошли, они бы много-много этих бирок бы нашли. Так что он: «Нет, нет, нет!» А этот кричит: «Шульмейстер, слазь, тебе сказано!» Подошёл начальник расстрельной команды. А начальник лагеря говорит: «Под мою ответственность, он мне нужен, он мне нужен, он мне нужен!» Схватил его за руку. И вот так второй раз папу спасли от расстрела.

И вот на этой должности — бригадир сельскохозяйственной бригады — он смог выжить. До 1948 года, когда исполнилось 10 лет его сроку, но уже к этому времени был издан указ Сталина — где бы немец ни находился в этот момент, он вечно должен в этом месте остаться. Мы с мамой в Северном Казахстане, папа на Колыме. Он уже не был заключённым, но как немец он должен был там остаться. Если бы он в Воркуте был, на Воркуте остался бы. Поэтому он приехал к нам только в 1957 году, в Северный Казахстан. Но один год он совершенно добровольно там остался. В 1956 их полностью реабилитировали, политических всех, и сняли с нас вот это сталинское — Сталин-то уж, слава Богу, в это время не жил — вот то, что мы должны в этом месте остаться, но папа к этому времени уже год работал начальником сельскохозяйственного отдела в крайисполкоме всего Колымского края, как вольный человек. И его очень попросили остаться и обобщить в книге весь этот опыт, чтобы то, что он достиг, продолжалось. Там всё росло в это время. Конечно, не на улице. Но при минимальных затратах вот этих утепляющих что ли сооружений, там всё выращивается! И там теперь скотоводство, там вывели даже сорта коров, которые зимовать на улице могут, и телиться, и телят выдерживать. Там очень много и вольнонаёмных было людей, которые с удовольствием туда ехали, потому что там огромные зарплаты им платили, заключённые-то бесплатно работали, и папа говорит, что за эту работу ему полагалась бы Нобелевская премия, но поскольку он немец и бывший заключённый, а как я вам сказала, один чекист выразился, что мало ли, что тебя реабилитировали, у тебя цифра 58 всю жизнь на спине написана будет. Вот ему тогда два ордена дали. И в 1957 году он вернулся.

И тогда мы только узнали историю его спасения от расстрела, к которому он был приговорён. Приговор или подлежит, или

не подлежит обжалованию. Вот у него как раз было там сказано, что подлежит обжалованию. И в течение 72 часов заключённому дают лист бумаги и карандаш, он может написать жалобу. Ворошилову тогда писали. Не знаю уж, кем он тогда был. Так что папа два месяца ждал исполнения приговора, а его не расстреливали не потому, что он жалобу написал, а совершенно по другой причине. Его бы там не помиловали. По его жалобе. Все писали жалобы, и тем не менее всех расстреливали. Это мы узнали много, много позже. Когда уже все документы рассекретили, не все засекреченные были открыты, но многие. Ведь у Сталина была такая тактика: вот один министр внутренних дел, НКВД тогда было, допустим, Ягода. Был. До него был Менжинский, до Менжинского был Дзержинский. Ну, Дзержинский, говорят, от болезни умер. Ягода. Страшная тоже личность. Безумная личность. Он миллионы расстрелял. Наступил момент, когда он стал уже опасным Сталину. Да что же это за страна, в которой каждый второй, и причём самые лучшие люди, враги народа? Тогда расстреливается этот Ягода, допустим. Или Иванов, Петров — кто был. И объявляется: да он же был ставленник английского империализма, это он всё сделал, чтобы навредить нашей стране и т. д. и т. п. И его расстреливают. Вот теперь Николай Иванович Ежов. Малограмотный. Вот теперь Ежов разберётся во всём, а в чём разобраться, когда они уже с этой алюминиевой биркой на левом пальце? Что разбираться-то? Ежов страшный человек. Ежов знал о каждом всё. И даже то, что этот человек во сне не видел. И наступил момент, когда Сталин стал его бояться. Потому что у Сталина было много чего, что он прятал в своей биографии. Много чего, что народ не должен был бы знать. Поэтому наступил момент, и этот момент наступил в апреле 1939 года, то есть в тот момент, когда осудили папу. Папу судили 29 апреля, в день его рождения, 1939 года. В этот момент арестовали Ежова. И его даже не расстреляли. Его растерзали. Была замечательная передача на этот счёт. Всё-всё показали. И было приостановлено в этот момент исполнение приговоров, сделанных при Ежове. И было объявлено: вот сейчас Лаврентий Павлович Берия придёт и во всем разберётся. И вот в этот момент не расстреливали. Хотя они уже осуждены были при Ежове. И вот это спасло папу. Расстреливали обычно в ту же ночь или,

в крайнем случае, на следующую ночь. Потому что смертных камер было не так много, а пополнение шло массами — надо было освободить место. Поэтому никто два месяца не держал бы. Вот почему папу не расстреляли. И тогда Берия, в течение этих двух месяцев, объявил, что вот сейчас он во всём разберётся и освободит всех, кто не виновен. Освободили... Со мной в классе училась девочка Люба, по фамилии Любич. Хорошая девочка, а папа с мамой её были циркачи. Артисты цирка. И, представьте, папу тоже арестовали — враг народа и так далее, и тоже приговорили... Его освободили. Как невинного. И ещё несколько случаев было слышно: а вот того освободили, а вот он работал там завтоком. Где-то в колхозе. А профессора Шульмейстера — не освободили. Но хоть не расстреляли. Дали десять лет... Объявили: заменяют десятью годами и пять лет поражения в правах. Всё-таки такого человека Берия не освободил. Вот почему его два месяца не расстреливали.

ЖК: А как папа узнал, что вы депортированы, что у вас новое место жительства? Это известно?

МК: Да, в лагерях узнали это сразу. Это же всё-таки сотни, сотни тысяч людей подняли с места. Этот указ в газетах мы не видели. Я вам говорила: такие жуткие, компрометирующие правительство вещи они старались мелким шрифтом, на последней странице и в самом низу печатать. Но тем не менее все сразу узнали. Письма оттуда шли месяцами. Тогда ведь не было авиасообщения или железнодорожного, его и сейчас нет железнодорожного, всё авиа. Так что если письма писали... Мы регулярно получали от папы письма. Но когда началась война, то года два не было писем. Ну, по-видимому, оттого, что он немец. Расстреляли, а оставшимся случайно запретили писать. Они же не в почтовый ящик бросали. А они сдавали в контору, а контора смотрела: ага, этот пишет своей жене, нет, выбросим его письмо. А этот, ну ладно, пускай идёт дальше. Морем шла почта и очень редко. Так что они знали, они всё знали. И статистику знали, что выжило в лагерях 5%. Поступивших. Вот такая статистика. Хотя государство никогда не опубликовывало ничего. Но всё-таки эти документы остаются засекреченными. Допустим, арестовали 10 миллионов как врагов народа, а освободили тысячу. Бывших врагов... Значит, проценты можно вычислить. Это никогда

не было опубликовано, а почему в лагерях знали? Пришёл пароход, привёз живых 2 тысячи. В новый, в отдельный барак. А через два месяца их осталось столько-то. Ну, считать-то умеют все. Все очень грамотные были. Вот поэтому лагерная статистика считает, что выжило до конца срока и освобонилось — 5%. Бывших врагов народа.

ЖК: Мне всё-таки интересно, как у папы был контакт налажен с волей. Вот в ссылке вы приехали и дали ему знать, какой у вас адрес, да?

МК: Ну я же говорю: они регулярно писали. Через контору, через контроль — некоторые письма просто брали и выбрасывали... это ж были солдатики. Молоденькие, комсомольцы. Которым сказали: это страшные враги народа. Им только плохо надо делать. Хорошего не надо. А тут он вдруг пишет матери своей. У какого-то комсомольца ёкнет сердце, и он бросит письмо в ту тару, которая пойдёт на почту. А другой поплхее, как говорится — да ну, будет он ещё писать. Так что когда-то мы получали. А некоторые мы и не получали письма. Конечно, мы знали его адрес, потому что два года уже был папа там. Конечно, мы ему сразу написали. Получил ли он первое письмо — это тоже не знаю. Сколько лет прошло, и бумаги-то не было, на чём писать. Потом, я же говорю: то год целый нет от него писем. Значит, он и наши, возможно, не получает.

ЖК: То есть мог быть такой перерыв в целый год?

МК: Ну, вот один раз, когда война началась, два года мы не знали, живы они или нет. Хотя мы слышали тоже, что немцев в лагерях расстреливают. Всех. Так что опять — мы не знали. Регулярной связи, конечно, не было.

ЖК: А из трудармии вы папе писали что-нибудь?

МК: Да. Но то же самое. То ли получил, то ли не получил. И он мне. Я раза два от него письма получала. Писал он больше, может быть. А я получила только два. Проверить-то ничего нельзя было.

ЖК: Именно в трудармии, вы имеете в виду?

МК: Из трудармии, а как я могла проверить? У нас не было почтовых ящиков — мы в контору просто относили свои треугольнички. А в конторе такие же вольнонаёмные шустряки молодые сидели. Они не работали на лесоповале. И на фронте не были. Они в тылах в лагерях работали. И они все потом как участники Великой

Отечественной войны до старости жили и хорошие пенсии получали. Все лагерные сотрудники, все НКВДшники, все-все.

ЖК: А у вас сохранились какие-то письма от папы?

МК: Я же вам говорю — ни одного.

ЖК: И потом, когда снова вас выслали, этих писем тоже не сохранилось, уже после подушки?

МК: Наверное, тогда их долго не было. Потому что мы ни одно письмо бы не выбросили. Но мы же потом тоже в тюрьмах были. В этапах были. Там никаких с собой бумажек нельзя было — Боже упаси. Так что, в общем-то, условия были очень экстремальные. Во всяком случае, собственноручно письмо полученное никто из нас не выбросил. Но тем не менее у меня ни одного письма нет. Потому что мы сами эти годы были все, вот говорят, на птичьих правах, но я думаю, что у птиц больше прав было — она залетела на верхнюю ветку и сидит себе. Спокойно. А у нас и этой ветки не было. Ну и в общем, вот так вернулся папа. А что дальше, вы уже знаете, я рассказала вам.

ЖК: А вот я ещё про письма хотела задать последний вопрос: а приходили ли вам письма, где было что-то вымарано цензурой?

МК: Нет. Никогда, потому что папа очень умный человек, и он понимал, что этим он подвергает письмо опасности, и, кроме того, мы такие люди... Это уж я вам тут слишком много откровенностей рассказала. Папу, когда он прожил после лагеря почти 40 лет, единственный раз спровоцировала приятная очень журналистка рассказать несколько слов, что он думал в камере смертников. Никогда. Ни с кем. Нас он оберегал: это же ранение... нас оберегал, себя в какой-то мере оберегал. Через себя это снова пропускать. А остальным чужим людям, или бабушка же, его мать, ещё была жива. Как он может её травмировать рассказами, что с ним делалось? Нет. Ни в коем случае.

ЖК: Ну откуда-то ведь вы знаете всё, что вы мне сейчас рассказывали?

МК: Ну, я вам, собственно говоря, такого криминала не рассказывала. Только то, что в приговоре, то, что мы о Ежове знаем, о Берии знаем. А криминала, как их пытали... Этого я не знаю. Но пытали до смерти. Большинство умирало под пытками. А что пытаются — это было официально объявлено, опять-таки, это не криминал.

ЖК: Скажите, а вот если вспомнить интервью, которое папа давал. Которое мы слушали. Вы присутствовали тогда. Для вас было что-то тогда то, что вы не знали, он рассказал что-то новое?

МК: Да нет, ничего. Ну, то, что в смертной камере не может быть мебелировки гарнитурной, я знала, я сама в пересыльных тюрьмах была. Солома и параша. Вся мебелировка. В Кокчетаве, я вам рассказывала, два месяца мы сидели на площади примерно 12 метров. Человек 25. Только сидеть на корточках. В углу вонючая параша. И солома.

ЖК: А там ещё в интервью папа говорит о том, что у немцев после депортации в 1941 году «не стало Родины»...

МК: Так он и сейчас это говорит. Потому что русские нас воспринимали как немцев. То есть врагов, фашистов. А в 90-е годы разрешён был возврат, или уж не знаю, как это назвать, выезд в Германию. Наши туда приезжают, а германские немцы их называют: «Вот, русские приехали». И соответствующее отношение. Только в тех случаях, когда ты очень хорошо знаешь свой язык, другое отношение. А если нам нельзя было детей своих учить немецкому языку? Сын мой бы 20-летним приехал. Немец. А он ни слова по-немецки. Вот немцы говорят: «Что же это вы за немцы, говорите, вы языка не знаете?» Им объясняешь: «Нам под страхом... побоев... нельзя было по-немецки говорить».

Боре было 4 годика, когда его в садике в кровь избивали и называли фашистом. Как же я его буду после этого немецкому языку учить? Так что у нас нет родины. Русские нас называли фашистами, а немцы в Германии нас называли русскими. У нас нет родины. Хотя мы 250 лет уже в России живём. Теперь очень много уже это пишут. Они же нас обвинили просто огульно, что все немцы — потенциальные предатели, все немцы — потенциальные враги и все немцы перейдут на сторону фашистов, как только они придут на Волгу. Так уже официально в газетах было написано: все исследования, все обследования — не дали ни единого примера, где бы российский немец перешёл на сторону немецких войск или сделал что-то, что помогло бы немецким войскам. А сколько русских предателей? Целые армии. Власов с целой армией предал родину и перешёл туда.

ЖК: Я вот по поводу родины ещё хотела такой вопрос задать: насколько я знаю, в 1980-е, а может быть чуть раньше или чуть позже, началось, было движение за восстановление автономной республики немцев Поволжья. Вы о нём знали тогда?

МК: Конечно. Это в газетах было сплошь и рядом. То есть нам было разрешено передвигаться, ехать куда хочешь, но эти крестьяне... Конечно, папе не нужна была эта Немреспублика. Мы жили в большом городе, и нас это вполне устраивало, но крестьяне хотели на свою землю. Русские такие демонстрации в Волгограде устраивали — я сама свидетель. С отвратительными лозунгами. Это была уже середина 60-х годов. И 70-е. С отвратительными лозунгами: «Не отдадим свою землю фашистам!» А они просили: пустите нас в наши старые сёла, мы себе новый дом построим. И мы снова будем работать, будем землю обрабатывать. Что вы! Такие в Поволжье, в Саратове и в Волгограде были отвратительные сцены. «Долой фашистов с нашей родной земли». Ну и после этого люди начали: «Да мы уж лучше тогда в Германию уедем». Всё-таки пусть нас там русскими называют, но не фашистами. Это было известно, это не тайна.

ЖК: Это были демонстрации против. А демонстрации за тоже были?

МК: Нет. Нет. Просто немцы хотели вернуться. Раз нам разрешили... Был же в 1972 году указ Правительства, что, пожалуйста, вы, оказывается, ни в чём не виноваты... Что огульно было обвинение, и что всё-всё это неправда, всё это отменяется. «Ну, хорошо, мы тогда хотим на наши старые земли». Нет, они не демонстрировали, они подавали заявления: «Мы хотим», а их не прописывали. Я вам говорила, в Волгограде мы были единственная семья из трёх человек немецкой национальности. Хотя уже все законы были — пожалуйста, ездите, куда хотите. А не принимали. Немцы же очень законопослушный народ. Никаких демонстраций. Не пускаете? Ну что же. А русские... Мы жили в доме, который рядом с обкомом партии в Волгограде. И дом был обкомовский. Папе дали как такому заслуженному земляку такую замечательную квартиру, шикарную, вот это мечта. Вот, я её очень хорошо продала и купила вот эту маленькую, ещё и сыну помогла купить квартиру. За одну квартиру в Волгограде. И вот напротив обкома партии, мы рядом стоим у своего

дома и видим эти отвратительные лозунги, гадкие надписи. Очень гадкие. А вот когда было 250-летие... нет, когда было 70-летие депортации, в 2011 году это было, да? 70-летие? Да. 70-летие начала войны и 70-летие начала депортации. В Саратове, поскольку Саратов в основном был город, где концентрировалось немецкое население, были намечены памятные мероприятия. День памяти. Вот об этом печальном событии. Память о депортации. Несколько моих знакомых, мужчины, поехали туда. И они приехали — Боже мой! Какие нападки! Молодёжь, русские. Ну, в общем, всё было сорвано. Никакой памяти о депортации. «Это не была депортация, это была эвакуация» — были лозунги. Разница между депортацией и эвакуацией, как кто-то из наших министров, Молотов, любил говорить, «дистанция огромных размеров». Ну и было сорвано всё. Поставили там памятник, символ депортации. Заляпали, конечно, грязью, навозом. Такие дела.

ЖК: Скажите, а вот вы говорили про сына, про Бориса, вот этот случай в детском саду, что его избили.

МК: Да, четыре годика ему было, в Кокчетаве. Мы уехали из Кокчетавы, когда ему шесть лет было. Седьмой год уже. Я прихожу за ним, а у него здесь вот такая полоса кровавая. Причём это случилось прямо перед тем, как мне его забирать. Так что это воспитательница, наверное, даже и не видела. Я говорю: «Что это у тебя?» Он не ответил, а спрашивает меня, не плачет, ничего, хотя ещё свежая совершенно кровь, как вот прутиком ударить: «Мама, — говорит, — а что такое фальшист?» Я говорю: «Кто тебе сказал это?» — «А, Ваня Ушмугин... Он сказал, что я фальшист, и ударил меня». Ребёнок был так потрясён, а с этим Ванькой мы рядом жили, они во дворе всегда играли. Ну, по-видимому, Ваньке дома сказали: «Ууу, это ж фашист, с кем ты играешь». Вот. И он подошёл к нему и: «Ты фальшист». Он был так потрясён, ребёнок. Он вообще был очень спокойным. Ребёнок никогда не плакал, вообще. С достоинством был ребёнок. В общем, не раскис, не побежал жаловаться. А меня дождался и спросил: «Что такое фальшист?» Что Ванька его «фальшистом» назвал. Вот так к нам относились.

ЖК: Вам пришлось что-то объяснять ему?

МК: Нет, ничего. Я говорю: «Пойдём, я тебя сейчас помою, помажу». Что четырёхлетнему ребёнку объяснять? Нет, нет, у нас была очень тяжёлая жизнь. И очень долго.

Вот сейчас, только уже в глубочайшей старости, как-то уже нет этой боли, обиды от этой несправедливости. Тем более мне ещё помогало то, что я безумно любила свою работу и пользовалась, не хвальнось, необычайным уважением родителей и учеников. Родители, то есть люди, которые меня персонально знали, — они бы, по-моему, под страхом смерти не оскорбили бы меня, хотя в общем тоже были в основном русские, конечно. Русские, казахи. Казахи, кстати, очень неплохо относились. Вот это меня спасало, что я в своём микромире, в своей работе, в которой я, по существу, большую часть жизни провела, я не чувствовала ни одного раза со стороны учеников или родителей какого-то намёка даже на то, что я человек второго сорта. Это люди, которые со мной непосредственно имели дело, которые знали, что я стою. А вот коллеги в Волгограде... В Сибири-то, в Кокчетаве и в Красноярске потом весь учительский состав ссыльные были. Так что там не оскорбляли друг друга. Ну если моя коллега — бывший профессор математики Варшавского университета? Ни она не способна оскорбить, ни я, естественно, не способна её оскорбить. А вот в Сталинграде, бывшем Сталинграде, в Волгограде потом уже, коллектив, конечно, очень был пропитан шовинистическим ядом. Очень, очень. А, повторяю, вот те люди, которые со мной имели непосредственно дело, — родители — знали, что я никогда не оскорблю ребёнка. А наша одна преподавательница русского языка в Волгограде имела значок «отличник народного образования». Одна мама из моего класса подошла как-то ко мне: «Как вы думаете, — называет её и говорит: — Она назвала наших детей идиотами на уроке. Как вы думаете, ведь это надо бы как-то обсудить». Я говорю: «Вы знаете что? По этому вопросу вы идите к директору, я вам тут помочь советом не могу. Я идиотами не назову никогда никого». — «Да, это мы знаем, но, Маргарита Константиновна, ну мы...» Я говорю: «Идите к директору, я вам не помощник». Хотя я была классная руководительница. Я говорю: «Этот вопрос я с вами обсуждать не хочу. Это прерогатива директора». Ну, она не пошла к директору. Вот такие учителя были, такие люди, и вот они свою ненависть нам показывали.

Вот вы спрашиваете, знали ли мы там подробности... Ну, есть вещи, которые так тяжелы, про которые думаешь: «Стоит ли это моего здоровья?» В Кокчетаве и в Волгограде несколько семей было, Боже мой, какие это были люди до ареста, которые тоже в Магадане отсидели. Вы же Аксёнова знаете? Писателя, ну, теперь покойного, слышали?

ЖК: Конечно.

МК: А вот его мама была с папой в лагере в Магадане. И когда освободились и реабилитировались, она жила в Москве. Мы её навещали в Москве всегда, она нас в Волгограде навещала. Там ещё одна семья была, тоже в Магадане. Это люди, которые такие положения занимали! Никогда в разговоре не было возврата вот к таким вещам. Вы знаете, тут хорошему психологу было бы интересно проанализировать. Но я думаю, что такие высокообразованные, высокоморальные люди просто считали ниже своего достоинства переживать вот это, одно и то же, эти ужасы. Они просто настолько, наверное, презирали этих людей, которые их так унижали и мучили, что они не стоили того, чтобы о них вспоминать, их преступную деятельность. Вспоминать и описывать. Вот я так думаю.

ЖК: Понятно, что это изначально ужасный и страшный опыт. Но есть же истории, вроде этого эстонского старика, который спас жизнь папе...

МК: Да. Очень жаль, что папа не знал его имени. А потом вот этот начальник лагеря — Голуб, он тогда ушёл уже в отставку, и когда папа освобождался, там его уже не было. И вот когда мы уже в Волгограде были, когда уже вроде мы были почти такие же равные, как другие люди в стране, я говорю: «Папа, давай через какие-то там организации попробуем найти этого Голубя». Ну, так... Голуб. Не Голубь, а Голуб. Я говорю: «Я бы так хотела ему вот просто сказать спасибо». Но папа что-то не стал. Говорит: «Ну, как...» Где-то он под Москвой жил. Это папа узнал от одного своего солагерника. Ну, в общем, тяжело... Когда что-то очень тяжело, это всё равно, что очень большую рану всё время берeditь ещё. Я много раз пожалела, что согласилась с вами работать.

ЖК: А папа поддерживал отношения с бывшими солагерниками?

МК: С двумя. Которые были той же специальности, что и он. Переписывались, да. Они тоже были реабилитированы, тоже получили должности высокие. Один в Новосибирске, по-моему, осел. Второй не помню. Ну, потому что он с ними работал вместе, и по духу очень были близки. Но они были младше папы значительно и умерли намного раньше его. Всё-таки до ста одного года не каждый доживает. Евгения Семёновна Гинзбург, мать Аксёнова, она нашла в себе как-то силы, всё-таки очень подробно всё это написать, молодец. Но она тогда ещё и моложе была. Всё-таки сильнее. А некоторые не находят в себе этой силы, и потом, я думаю, что просто тут инстинкт самосохранения и сохранения своих близких. Сохранения своих близких.

Вот трудовая книжка отца. Значит, он все эти двадцать лет занимал должность зав. кафедрой... А предыдущая запись вот: 1938 год, январь, кажется, 20-е: «на должность заведующего кафедрой земледелия Саратовского сельскохозяйственного института». И сразу тут прерывается, тут сразу арест, а тут теперь: «трудовой стаж с этого дня по сентябрь 1948 года сохраняется по ранее занимаемой должности на основании постановления Совета Министров, ректор такой-то». Вот, это всем занесено было. Он в 1948 освободился, а потом на вечное поселение. Вот, значит, эти десять лет он оставался как зав. кафедрой, числился по трудовой, а теперь с освобождения назначен старшим агрономом отделения почтовый ящик — ну это вот лагерь — почтовый ящик такой-то. Уже идёт стаж вольного, вольнонаёмного. Откомандирован из этого почтового ящика в распоряжение Магаданского облисполкома и назначен начальником отдела науки Магаданского облисполкома. Уволен в связи с окончанием срока по статье такой-то. Так что ни дня перерыва.

2016 г.

НАША ОБЩИНА СЕГОДНЯ

Меня зовут Маргарита Шульмейстер. Я являюсь членом общины св. Анны и св. Петра в Санкт-Петербурге. Мне 94 года. Можно сказать, что я являюсь свидетелем всего XX века. Я и моя семья перенесли всё, что было уготовано нам, российским немцам, как наказание. И об этом я хочу рассказать.

Моя семья и я перенесли все самые тяжкие испытания, которые были уготованы российским немцам с того момента, когда в 1941 году Германия начала войну против России. Нас — российских немцев, обвинили в развязывании этой войны. Поэтому мы должны были быть строго, жестоко и бесчеловечно наказаны. Сначала я расскажу о том, как от этого наказания пострадала моя семья.

Я принадлежу к семье немцев, приехавших в Россию в 1765 году из Германии, из Вюртемберга. К началу ВОВ они уже более 170 лет жили в России. В то время немцам очень хорошо жилось в России. Они были талантливы, одарены, способны. Начиная с третьего поколения, российские немцы уделяли большое внимание не только крестьянскому труду, но и образованию. И поэтому в моей семье, о которой я хочу рассказать, старший сын моих бабушки и дедушки, старший брат моей мамы, Фридрих (Фриц) Ваккер изучал теологию в Тарту. (Тарту — это город в Эстонии. В то время Эстония относилась к России.) В Тарту находился немецкий университет, в котором мужчины немецкого происхождения могли изучать теологию. Затем выпускников в должности пастора распределяли по всей России.

Таким образом, старший сын моих бабушки и дедушки изучал теологию в Тарту, а после ещё два семестра учился в Лейпциге. Я хочу показать вам фотографию моей бабушки — Доротеи Ваккер,

урождённой Райсих, на которой она со своими семью детьми. Её старший сын Фридрих, который в том году окончил университет и получил распределение в общину в России, тоже на фотографии. Фотография была сделана в Санкт-Петербурге, на ней стоит адрес «Малая Морская». Снимок сделан в 1908 году. Все изображённые на ней, кроме маленького ребёнка, были детьми моей бабушки — Доротеи Райсих.

Я хорошо помню, что детьми мы проводили каникулы в пасторате у дяди Фрица. Мы его очень любили.

В 1925 году, уже при советской власти случилось чудо, в которое старшее поколение не могло поверить. Я была маленьким ребёнком, но хорошо помню этот момент. Было получено разрешение создать в Санкт-Петербурге семинарию для евангелических пасторов. (Эстония получила независимость, и получать теологическое образование в Тарту не было никакой возможности.) Это было удивительно, так как к этому времени тысячи священников — католических, православных, евангелических, были расстреляны, многие церкви разрушены. И вдруг в 1925 году, пожалуйста, создавайте семинарию. Это было очень важное поручение. Было очень почётно получить такую работу, и это задание получил пастор Фридрих Ваккер, мой дядя. Он жил в Санкт-Петербурге. К тому времени он уже был женат и имел детей.

Семинария получила одно из двух зданий рядом с Анненкирхе. В одном из зданий находилась школа — Анненшколе, а в другом была основана семинария. В этом очень большом доме жили студенты, доценты, в нём находились лекционные аудитории. Одним словом, всё, что касалось жизни семинарии, находилось в этом здании. Обучение длилось 4 года. Всё шло просто замечательно. Все радовались тому, что появилась возможность подготовить пасторов в России. К тому времени в России проживало около одного миллиона немцев. Самой большой была Волжская колония. В Санкт-Петербурге было много немцев. Были колонии в Украине, в Грузии, на Кавказе.

Первые выпускники семинарии после четырёх лет обучения получили в 1929 году места пасторов общин по всей России. Их было не так много. Я не могу сказать, сколько студентов было в каждом наборе. В 1930 году должен был быть следующий выпуск. Но

в 1930 году начались невзгоды в нашей семье, о которых я говорила в начале. Дядя Фридрих был арестован. Знаменитый пастор Мальмгрен тоже был арестован, большинство студентов последнего семестра тоже были арестованы.

Долгие годы дядя Фриц провёл в заключении в тюрьме под Красноярском. Его не сразу расстреляли, хотя других пасторов расстреливали сразу. Его расстреляли, только когда началась война — 6 июля 1941 года. (Я получила все документы. Я единственная из нашей большой семьи ещё жива. Поэтому я поняла, что должна рассказать правду о нашей семье.) Через некоторое время — 6 сентября 1941 года, была арестована тётя Клара, жена Фридриха. И уже 26 сентября она была расстреляна в Левашово, в месте расстрелов во время Красного террора. Это стоит в документах, которые я получила.

Дочь, Хельга Ваккер, окончила в 1940 году Ленинградский университет. Она изучала физику и астрономию. Профессора были поражены, какая это способная и талантливая студентка. Её тоже арестовали как дочь пастора и сослали в Новосибирск. Там она несколько лет провела в тюрьме. Затем её судили и приговорили к расстрелу. Но в это короткое время её скитаний по тюрьмам в холоде, голоде, страхе она заболела туберкулёзом, который быстро развивался. Ей зачитали приговор. Но она умерла в тюремной больнице раньше, чем его привели в исполнение. Моя бабушка Доротея Ваккер ещё была жива и должна была пережить трагическую судьбу своего любимого сына и его семьи.

В 1941 году началась война. И мы как немцы, все без исключения, должны были быть отправлены в ссылку. Это значило, что мы потенциально опасны для нашего государства. Поэтому нас нужно было изолировать в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке. В места, где мы не могли бы общаться с другими людьми. Во время депортации умерло много людей. Главным образом дети. В маленьком вагоне, в котором перевозили скот, лежало немного соломы, стояли двухэтажные нары. Вагон был забит людьми. Еды не было. Дорога длилась многие недели, пока нас не выбрасывали в какой-то необитаемой местности. Это могла быть пустыня, дремучий лес, горы, где нужно было всё начинать с нуля. Мужчины копали землю, чтобы

найти воду... Я не буду сейчас повторяться. Кто интересовался этим вопросом, уже многое прочитал.

Через несколько месяцев после нашего прибытия мужчин забрали в трудовую армию. Юношей от 15–16 лет и мужчин в возрасте до 55–60 лет. Точнее я не могу сказать. В то время мне было 16, и для меня 40-летний мужчина уже был стариком.

Сначала забрали мужчин, а через несколько месяцев и женщин. Женщины, у которых дети были старше 3 лет, должны были их оставить и отправиться в трудовую армию. В этот путь отправилась и я. Моя мама была уже стара. Но, главное, от всех несчастий она сильно заболела. Так что её нельзя было использовать.

Я должна ещё сказать, что в 1937 году был арестован мой папа. К тому времени он был профессором, занимался генетикой. А генетика подвергалась гонениям в коммунистическом государстве. Папу приговорили к расстрелу. Но после двух месяцев, проведённых им в камере смертников в ожидании расстрела, в руководстве страной произошли изменения. Генерального комиссара госбезопасности Н. Ежова расстреляли. На этом посту его заменил Л. Берия. Он говорил, что наведёт порядок и исправит то, что натворил Ежов. Хорошим в этой ситуации было то, что мой папа был «помилован»: вместо расстрела его отправили на 20 лет в тюрьму. Эти 20 лет он провёл в лагере на реке Колыме. Печально знаменитой реке, где с незапамятных времён добывалось золото в России, и ещё в царские времена туда ссылались самые опасные преступники. Оттуда никто не мог сбежать. Папа провёл там 20 лет и удивительным образом остался в живых. Лагерная статистика, не государственная статистика (она очень засекречена), а именно лагерная статистика говорит, что выживали 5% из прибывших в лагерь заключённых. Люди умирали и гибли уже с первых месяцев пребывания в лагере.

Это судьбы моей семьи. Итак, мне 16 лет, я попала в трудовую армию. Дремучий лес — тайга — на Крайнем Севере. Работа настолько тяжёлая, что вручную с ней не мог бы справиться современный мужчина. Он попросил бы предоставить ему технику, так как такую работу нельзя выполнить вручную. А мы, девочки и женщины, должны были эту работу выполнять вручную. Один раз в сутки мы получали «суп». Супом это трудно назвать — миска грязной

солёной воды. И «хлеб» мы тоже получали один раз в сутки. Это было 800 граммов картофельных очистков, измельчённой соломы и, возможно, маленький процент зерна. Я только хотела сказать, что наша семья испытала всё: расстрелы, трудармию, лагерь.

Я хотела бы ещё добавить. Женщины должны были оставить своих детей дома. Домом это трудно назвать. Мы жили в землянках. Они задолго до нас были построены правительством, так как оно заранее планировало, что многие-многие люди должны быть выселены из крупных городов в места вечной ссылки. А дети... Хорошо, если в семье была бабушка или тётя постарше, которой не нужно было идти в трудармию, и они могли взять детей к себе и оберегать их. Но в большинстве случаев дети погибали от голода и холода.

Был очень тяжёлый момент. 40 женщин в вагоне для перевозки скота. Очень долго мы стояли на различных станциях. Мы не знали, куда мы едем, где мы находимся географически. И когда поезд медленно тронулся с места, никто не проронил ни слова. Женщины заплакали и запели песню: «So nimm denn meine Hände und führe mich». В этой песне голоса всех женщин слились в один. В едином порыве они обращались к Господу и молили о защите в этой ужасной беде. «...Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt; Wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit...»

Я не буду больше рассказывать о трудармии. Я о ней много рассказала. В Интернете можно найти множество интервью и почитать.

В 2010 году в Петрикирхе широко отмечали 300-летний юбилей общины. Речь идёт не о здании, а о людях. Община — это и есть люди. Приехало много гостей из Германии, из России. Узнав, что празднуется юбилей общины, пришли люди, которые не являются членами общины и не ходят на богослужение. Пришла петербургская интеллигенция, чтобы принять участие в этом празднике. Прозвучало много замечательных докладов. Я тоже сделала доклад на тему «Как в 70 лет жесточайшего запрета могла сохраниться Вера». Ведь церкви закрывались, их превращали в склады, конюшни, наша была бассейном. В начале 30-х годов люди должны были сжечь Библии. В городах и сёлах по домам ходили бригады, которые искали и уничтожали Библии, которые люди пытались спрятать в надежде на то, что смогут её тайно читать.

И всё же, когда мы в 1989 году получили разрешение на открытое проявление нашей веры и могли использовать церковные здания, которые нуждались в реставрации и ремонте после их 70-летнего ужасного использования, в первые же дни к этим церквям пришли люди. Кто же были эти люди? Это были старики, люди среднего возраста и совсем молодые люди. Это были те, кто сохранил нашу веру в эти 70 лет. А её запрет ведь был очень жестоким. В тюрьмах, а мы с мамой в течение только одного года сменили 10 тюрем, я встречала людей, которые получили 10 лет заключения только за то, что у них была найдена Библия.

Я спрашивала у этих людей, как им удалось сохранить веру. Ведь 24 часа в сутки мы находились под наблюдением надзирателей. Нас ни на минуту не оставляли одних, ни в лагере, ни в тюрьме, ни в трудармии. Даже на работе, в школе, на улице нельзя было быть уверенным, что за тобой не следят.

И всё же среди наших немцев были очень храбрые и мужественные люди. Главным образом это были старенькие женщины. Этим женщинам мы благодарны за то, что в эти 70 лет сохранилась наша вера. Даже если их было всего 2–3 человека, они создавали общину. Они шёпотом разговаривали друг с другом, молились и даже тихонько пели. Они крестили детей, рождённых в ссылке.

Я ещё хочу показать вам младшую сестру моей мамы Марию — нашу любимую тётю Марусю. Она тоже попала в трудармию. Молодая, кроткая, нежная женщина. И при этом в ней было столько мужества, что, несмотря на круглосуточный надзор, она создала общину в трудармии. И когда она уже была старой, и мы уже были свободны, я каждое лето навещала её во время отпуска. Она так и осталась на Урале. Как-то я спросила её: «Тётя Маруся, как вы не побоялись создать общину? Ведь это было так опасно!» Она ответила: «Знаешь, я увидела, что люди теряют мужество. И если при этом голоде, при этой тяжёлой работе, от которой многие женщины заболели, они потеряют ещё и мужество, можно считать, что такой человек умер. Ему уже ничего не поможет. И я хотела дать им немного сил. Под страхом быть наказанными старенькие женщины крестили, венчали, отпевали умерших и молились за них. Мы ничего не могли изменить, ничего! Но мы могли поделиться с рядом стоящим частичкой своего мужества!»

Я хочу добавить ещё несколько слов к рассказу о тайных общинах. Их членами в основном были женщины, иногда, очень редко мужчины. Они хотели молиться. У нас, лютеран, детей с детства приучали к молитве. Молиться перед приёмом пищи — благодарить. А перед сном все поколения детей российских немцев молились словами: «Müde bin ich, geh' zur Ruh', schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein...» Этой маленькой молитвой каждый ребёнок вечером обращался к Богу. Поэтому молиться могли все. Ведь не обязательно иметь текст для молитвы, нужно сердцем чувствовать те слова, которые ты хочешь сказать милосердному Господу.

Но они хотели ещё и петь, так как песни из наших сборников хоралов содержали слова, которые действительно дают силы. К примеру, замечательный хорал «Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit...» «Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach?» Или хорал «So nimm denn meine Hände». Нашим людям не хватало песен, но наизусть целый хорал никто не знал. Поэтому моя тётя Маруся сделала следующее: она взяла две обыкновенные школьные тетрадки и сшила их. И они стали записывать хоралы по памяти. К примеру, из хорала «Befehl du deine Wege» кто-то помнил первую строфу, другой вспомнил третью. Она записала первую строфу, оставила место для второй, записала третью. И таким образом она записала карандашом в эту тоненькую тетрадку 64 хорала. Последний, 64-й, содержит только одну строфу. Вероятно, к этому времени она уже умерла.

Благодаря этим мужественным пожилым женщинам и совсем молодым девушкам была сохранена наша вера. И когда в 1989 году здание церкви было передано нам, пришли все, кто пережил эти ужасные 70 лет террора — старые, больные, люди помоложе. И это было началом нашей общины святого Петра. В первое время богослужения праздновались везде: и в Пушкине, и на ступенях Анненкирхе, иногда под открытым небом. И только в сентябре 1997 года было освящено здание на Невском проспекте 22–24 и прошло первое богослужение.

Мы были так счастливы, что у нас есть своё здание, своя община. Была основана диаконическая группа. У нас был детский проект.

В то время в Санкт-Петербурге было много бездомных детей. Это была ужасная картина. Люди теряли работу. Что делает русский мужчина, когда он теряет работу? Он начинает пить. Когда он начинает пить, он бьёт свою жену и детей. Дети сбегали из дома и становились бездомными, живущими на улице. Мы хотели помочь этим детям, насколько это было в наших силах. На прилежащих к церкви улицах мы собрали 15 детей и на протяжении 10 лет помогали им. Я находила в Германии спонсоров, благодаря которым эти дети могли получить двухразовое питание. Мы помогали им выполнять домашние задания, организовывали прогулки и походы в музеи. Я хочу сказать, мы все хотели принимать участие в какой-либо работе в общине. И это было замечательно!

Пасторы приезжали к нам из Германии. И так у нас было до 2013 года. Мы были бедны. Но из тех пожертвований, которые мы получали, мы по решению церковного совета оплачивали кому-то рецепт на лекарства, которые всегда были очень дорогими. Другому было необходимо медицинское обследование — мы тоже оплачивали. Семье бедной женщины с ребёнком-инвалидом от рождения мы купили два одеяла и привезли им в Гатчину, где они замерзали в своей комнатушке. Это была для них огромная радость. Кто-то пожертвовал им ещё и подушки, постельное бельё, полотенца.

Мы радовались, что пережили страшное время и были теперь свободными людьми. Каждый из нас получил документ, в котором не было написано: «Извините, пожалуйста, мы вас ложно обвиняли». Нет, просто: «С такого-то числа такого-то года вы реабилитированы». В документе не стояло, в чём моя вина. Нет. Моя вина была в том, что я немка. И мой маленький сын должен был быть занесён в книгу регистрации на вечное поселение в течение 3 дней после рождения. Таков был закон. При рождении ребёнка кто-то из родственников — муж, мать или соседка, должен был быстро-быстро идти в комендатуру и сообщить, что ссыльная женщина такая-то родила ребёнка мужского пола. У ребёнка ещё не было имени, но он был уже внесён в список на вечную ссылку. Так было и с моим сыном. Его виной было, что он рождён немкой. Другого преступления он не совершил. Когда ему было 40 лет, он тоже получил документ, что он реабилитирован.

Одним словом, мы радовались, что мы реабилитированы и на свободе и можем помочь людям, оказавшимся в жуткой нужде. И я повторяюсь. Так было до 2013 года. К нам приехал новый пастор. Пастор у нас служит 3 года, затем он должен либо вернуться в Германию, либо он может продлить своё служение. В нашем случае мы первые 3 года нашего пастора почти не видели. Но мы все продолжали работать. Потому что работа была уже хорошо отлажена. Каждый знал, что ему следует делать в общине, поэтому мы не сразу чувствовали, что не всё так хорошо в общине. В 2016 году состоялись выборы в совет. И в этот момент наша община перенесла удар. Под давлением пастора в совет общины вошли совершенно чужие, незнакомые нам членам общины, люди. Как они вошли в церковный совет? Пастор сам собирал подписи за них и при этом объяснял членам общины, что это очень нужные люди для общины. Ну а прихожане не хотели обидеть пастора и поставили свои подписи. Таким образом, в совет вошли люди, у которых другие интересы, чем у церкви. И совсем скоро мы тоже поняли, что у этих людей другие интересы в общине, чем мы думали. И поэтому за очень короткое время наша любимая община была превращена в музыкальный бизнес-центр. Многие члены общины не приходят на богослужения. Речь в общине идёт только о деньгах. Ежедневно проводятся концерты. Скоро, наверное, будут проводить 2–3 концерта в день, а то и больше, если это будет возможно. Не знаю. Если это возможно, то определённо станет действительностью. И я думаю, Святой Дух покинул нашу общину. И это очень-очень прискорбно для тех, кто столько любви вложил в создание общины.

Я заканчиваю свой рассказ о том, как выглядит жизнь в нашей общине. Всего хорошего, дорогие друзья. Спасибо за внимание.

2019 г.

ФРАГМЕНТЫ ИНТЕРВЬЮ, ЗАПИСАННОГО В РУССКО-НЕМЕЦКОМ ЦЕНТРЕ ВСТРЕЧ В 2021 ГОДУ

Что делает меня счастливой

Я думаю, что жизнь любого человека не может состоять только из бусинок, нанизанных на жизненную нить, где каждая бусинка — счастливый момент. Эти моменты, естественно, перемежаются неприятностями и несчастьями. Но, несмотря на то, что в моей цепочке этих бусинок бывали всякие, я всё-таки считаю, что я прожила неплохую жизнь.

Я всегда нуждаюсь в людях, в общении. Я не могу быть одна. Я всегда должна «вмешиваться» в происходящее вокруг меня. Мне было неполных 17 лет, когда в трудармии я стала бригадиром. 40 женщин, из которых 39 не говорили по-русски. Надзиратель стоит перед нами, кричит, нецензурно выражается, а 39 женщин не могут понять, чего он хочет от них. И мне пришлось признаться, что я знаю русский язык, а то ситуация складывалась уже комедийно. Надо было что-то делать, и мне пришлось призвать на помощь весь свой неприличный лексикон, который я, девочка, никогда не произносила вслух. Я объяснила, что женщины-то хорошие и исполнительные, но они не понимают, что надо делать. Это был, наверное, первый случай, когда мне пришлось вмешаться в происходящее.

Довольно странно, что это вспоминается мне как ответ на вопрос о счастье. Но это просто подводка к моему характеру, к потребности в общении, оказании помощи людям. Так же случилось, когда я в возрасте 72 лет впервые в жизни попала в церковь. Увидев на Невском, по пути на богослужение, пятерых крошечных нищих детей, которых матери высаживали на улицу и ставили перед ними мисочки для милостыни, у меня сразу возникла идея, как им можно помочь. И я начала придумывать проекты для помощи таким детям.

И все эти годы я занималась этими проектами, и даже такая организация, как Фонд Густава Адольфа, доверяла мне огромные суммы для их воплощения.

Чем я горжусь

Если бы не ужасная судьба российских немцев, то при моём фанатичном преклонении перед математикой я, возможно, доказала бы какую-нибудь теорему, вроде Пифагора. Но получилось так, что в области математики мне пришлось удовлетвориться только педагогической работой в школе. Но вот насчёт гордости...

После ареста отца мы с мамой остались практически без средств к существованию. Мне было 13 лет. До этого мы с сестрой ходили в балетную студию, занимались музыкой, катались на коньках зимой, читали много. И тут вся жизнь перевернулась. После обыска у нас почти ничего не осталось, всё изъяли. Мама по специальности была преподавателем немецкого и французского языков, после замужества она работала переводчиком в библиотеке папиного института. А в это время она не работала.

Итак, с 13 лет и по сей день, я горжусь (если тут можно употребить это слово) тем, что, прожив почти 96 лет, я ни у кого не взяла, не одолжила, не попросила и тем более не украла ни одной копейки, ни одного кусочка хлеба. Я с 13 лет полностью себя кормила, поила, я получила образование в совершенно невыносимых условиях. Этим я могу гордиться.

Как может 13-летний ребёнок себя прокормить? Одноклассница списывала домашние задания по алгебре и геометрии, а её мама кормила меня обедом. Мама другого одноклассника, собирая его в школу, передавала бутерброд для меня за то, что я дополнительно занималась с ним. Это делалось очень деликатно, не унижительно. Такими были мои первые заработки. В Казахстане собирала колоски. Потом трудармия, спецпоселение. Я научилась вязать, делать кизяк, печи складывать. И везде, где только светила какая-то работа, я за неё бралась.

О родном языке

У нас в России — в Немецкой республике, в колониях немецких (на Кавказе, в Крыму, на Украине, вокруг Петербурга очень много колоний было) — чистого диалекта не осталось ни одного, потому что получала место для селения не одна община, скажем, из Вюртемберга. Вот село, в котором отец родился: там Гессен, Вюртемберг, Пруссия и даже Польша. Поэтому ко времени моего уже существования чистых диалектов у российских немцев не осталось. Это было смешение минимум четырёх диалектов в одном селе. Старые люди знали, откуда они, из какой земли, но речь их трансформировалась уже. Если сосед упорно говорит «флейш», то и я постепенно вместо «фляйш» начинаю говорить «флейш», если он уже 170 лет мне так в ухо говорит.

Я помню себя очень хорошо примерно с двух лет. Мы свободно говорили на русском и на немецком. Без акцента, естественно. Поколение бабушек-дедушек знали русский уже очень хорошо, но в обиходе говорили только на немецком. А вот поколение моих родителей, то есть следующее поколение — в зависимости от обстоятельств. Когда мы были одни дома, то, конечно, говорили на немецком. Но если был кто-то из друзей отца по работе, которые были русскими, или во всяком случае не немцами, то говорили на русском.

Деревенские жители знали только немецкий, мужчины, конечно, чаще знали русский. Коверканый такой, по-немецки это называется *Kauderwelsch*. Потому что они всё-таки больше с русским миром общались. А немецким женщинам не особенно требовались русские слова. В единичных случаях в быту женщины-немки иногда какое-то искажённое русское слово употребляли.

Я родилась в 1925 году, а сейчас уже 21-й год следующего столетия, я весь XX век прожила и могу свидетельствовать, что никакого разграничения, русский или немец, не было. Языками обоими пользовались. Не было ничего преднамеренного — вот, я только на немецком, или я только на русском буду говорить. Всё это само собой разумелось. Многие русские учёные немного знали немецкий язык, даже любили в компании пошутить по-немецки, какую-то поговорку сказать или какой-то стишок. Относились с милым доброжелательством.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Маленькое предисловие. <i>А.А. Немкова</i>	3
Предисловие. <i>И.В. Черказьянова</i>	4

XX век. Мой долгий путь

Буханка хлеба	8
Именем Союза Советских Социалистических Республик... ..	11
Мой путь с Урала в Казахстан. Воспоминания об одном празднике Пасхи	31
Цена высшего образования	35
Интервью с М. К. Шульмейстер, записанное Женей Кулаковой (НИЦ «Мемориал») в 2016 году	47
Наша община сегодня	162
Фрагменты интервью, записанного в Русско-немецком Центре встреч в 2021 году	171

12+

Маргарита Шульмейстер

XX ВЕК. МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ
Воспоминания

Художник *Ольга Маркина*
Первичная обработка текста *Инна Лосева*

Корректор *М.А. Иванова*
Оригинал-макет *Л.Е. Голод*
Дизайн обложки *О.Д. Курта*

Подписано в печать 20.05.2021. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 11. Тираж 200 экз. Заказ № 2300

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru
www.nestorbook.ru

Отпечатано в типографии издательства «Нестор-История»
Тел. (812)235-15-86